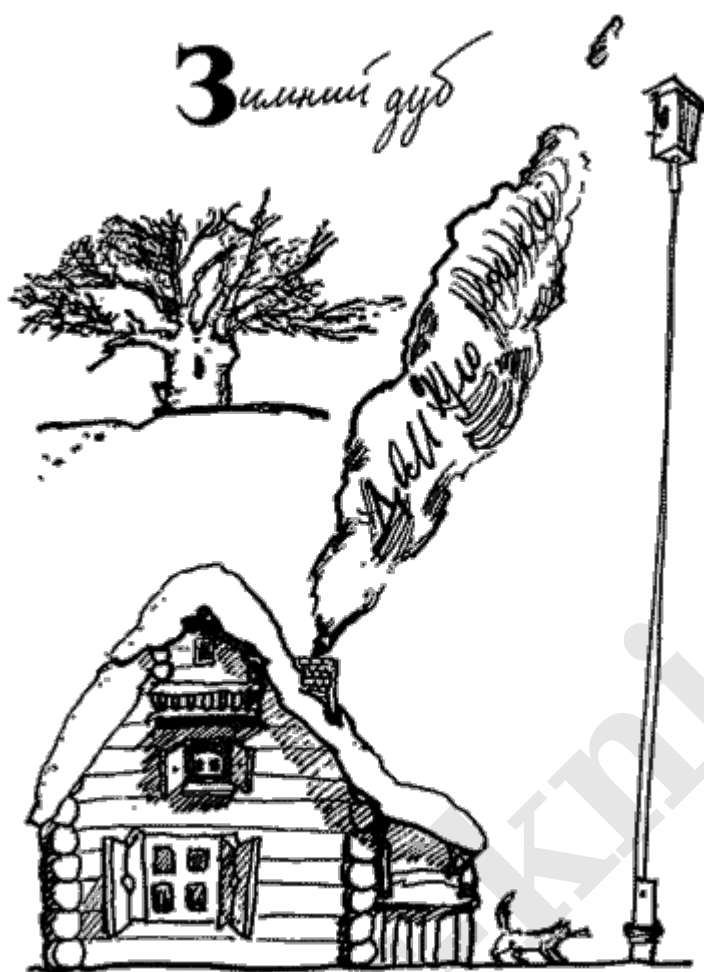




"Школьные истории, веселые и грустные (сборник)"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org



Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой, прерывистой тени на ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет.

До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала легким шерстяным платком. А мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер и, срывая с наста молодой снежок, осыпал ее с ног до головы. Но двадцатичетырехлетней учительнице все это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щеки, что ветер, задувая под шубку, студено охлестывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых ботиков, похожий на след какого-то зверька, и это ей тоже нравилось.



Свежий, напоенный светом январский денек будил радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи, и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и в торфогородке, и на конезаводе — всюду ее знают, ценят и называют уважительно: Анна Васильевна.

Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засинив длинные тени на снегу. Тени сближали самые далекие предметы: верхушка старой церковной колокольни протянулась до крыльца Уваровского сельсовета, сосны правобережного леса легли рядком по скосу левого берега, ветроуказатель школьной метеорологической станции крутился посреди поля, у самых ног Анны Васильевны.

Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу?» — с веселым испугом подумала Анна Васильевна. На тропинке не разминешься, а шагни в сторону — мигом утонешь в снегу. Но про себя-то она знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дорогу уваровской учительнице.

Они поравнялись. Это был Фролов, объездчик с конезавода.

— С добрым утром, Анна Васильевна! — Фролов приподнял кубанку над крепкой, коротко стриженной головой.

— Да будет вам! Сейчас же наденьте, такой морозище!..

Фролов, наверно, и сам хотел поскорей нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Он был розовый, гладкий, словно только что из бани; полущубок ладно облегал его стройную, легкую фигуру, в руке он держал тонкий, похожий на змейку, хлыстик, которым постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена валенку.

— Как Леша-то мой, не балует? — почтительно спросил Фролов.

— Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границы, — в сознании своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна.

Фролов усмехнулся:

— Лешка у меня смиренный, весь в отца!

Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с пятиклассника. Анна Васильевна кивнула ему сверху вниз и пошла своей дорогой.

Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояло близ шоссе, за невысокой оградой. Снег до самого шоссе был подрумянен отсветом его красных стен. Школу поставили на дороге, в стороне от Уваровки, потому что в ней учились ребяташки со всей округи: из окрестных деревень, из конезаводского поселка, из санатория нефтяников и далекого торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки.

— Здравствуйте, Анна Васильевна! — звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз.

Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А». Еще не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо прощаясь с безмятежным настроением утра.

— Сегодня мы продолжим разбор частей речи...

Класс затих. Стало слышно, как по шоссе с мягким шелестом проносятся машины.

Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и, словно школьница на экзамене, твердила про себя: «Существительным называется часть речи... существительным называется часть речи...» И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх: а вдруг они все-таки не поймут?..

Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом пучке и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во всем теле, начала:

— Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить: кто это или что это? Например: «Кто это?» — «Ученик». Или: «Что это?» — «Книга».

— Можно?

В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея.

— Ты опять опоздал, Савушкин? — Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно.

Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы, — наверно: «Что она объясняет?..»

Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина, как досадная нескладница, омрачившая

хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей жаловалась учительница географии, маленькая, сухонькая старушка, похожая на ночную бабочку. Она вообще часто жаловалась — то на шум в классе, то на рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны!» — вздыхала старушка. «Да, для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок интересным», — самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой, достаточно пронизательной, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны усмотреть вызов и укор...

— Вам все понятно? — обратилась Анна Васильевна к классу.

— Понятно!.. Понятно!.. — хором ответили дети.

— Хорошо. Тогда назовите примеры.

На несколько секунд стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнес:

— Кошка...

— Правильно, — сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была «кошка».

И тут прорвало:

— Окно!.. Стол!.. Дом!.. Дорога!..

— Правильно, — говорила Анна Васильевна, повторяя называемые ребятами примеры.

Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов: колесо, трактор, колодец, скворечник...

А с задней парты, где сидел толстый Вася, тоненько и настойчиво несло:

— Гвоздик... гвоздик... гвоздик...

Но вот кто-то робко произнес:

— Город...

— Город — хорошо! — одобрила Анна Васильевна.

И тут полетело:

— Улица... Метро... Трамвай... Кинокартина...

— Довольно, — сказала Анна Васильевна. — Я вижу, вы поняли.

Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Вася все еще бубнил свой непризнанный «гвоздик». И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул:

— Зимний дуб!

Ребята засмеялись.

— Тише! — Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.

— Зимний дуб! — повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы.

Он сказал не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души, как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение:

— Почему зимний? Просто дуб.

— Просто дуб — что! Зимний дуб — вот это существительное!

— Садись, Савушкин. Вот что значит опаздывать. «Дуб» — имя существительное, а что такое «зимний», мы еще не проходили. Во время большой перемены будь любезен зайти в учительскую.

— Вот тебе и «зимний дуб»! — хихикнул кто-то на задней парте.

Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутый грозными словами учительницы.

«Трудный мальчик», — подумала Анна Васильевна.

Урок продолжался...

— Садись, — сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую.

Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах.

— Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?

— Просто не знаю, Анна Васильевна. — Он по-взрослому развел руками: — Я за целый час выхожу.

Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу.

— Ты живешь в Кузьминках?

— Нет, при санатории.

— И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минут пятнадцать, и по шоссе не больше получаса.

— А я не по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес, — сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством.

— Напрямик, а не напрямки, — привычно поправила Анна Васильевна.

Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она

молчала, надеясь, что Савушкин скажет: «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался», или что-нибудь такое же простое и бесхитрое. Но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил: «Вот мы все и выяснили, чего же тебе еще от меня надо?»

— Печально, Савушкин, очень печально! Придется поговорить с твоими родителями.

— А у меня, Анна Васильевна, только мама, — улыбнулся Савушкин.

Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина, «душевную нянечку», как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице. Худая, усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила, кроме Коли, еще троих детей.

Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот. И все же она должна увидеться с ней. Пусть той поначалу будет даже не приятно, но затем она поймет, что не одинока в своей материнской заботе.

— Придется мне сходить к твоей матери.

— Приходите, Анна Васильевна. Вот мама обрадуется!

— К сожалению, мне ее нечем порадовать. Мама с утра работает?

— Нет, она во второй смене, с трех...

— Ну и прекрасно! Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь.

Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школы. Едва они ступили в лес и тяжело нагруженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, очарованный мир покоя и беззвучия. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие, сухие прутья. Но ничто не рождало здесь звука.



Кругом белым-бело, деревья до самого малого, чуть приметного, сучочка убраны снегом. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба.

Тропинка бежала вдоль ручья, то вровень с ним, покорно следуя всем извилам русла, то, поднимаясь над ручьем, вилась по отвесной круче.

Иногда деревья расступались, открывая солнечные, веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом.

— Сохатый прошел! — словно о добром знакомом, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. — Только вы не бойтесь, — добавил он в ответ на

взгляд, брошенный учительницей в глубь леса, — лось — он смиренный.

— А ты его видел? — азартно спросила Анна Васильевна.

— Самого?.. Живого?.. — Савушкин вздохнул. — Нет, не привелось. Вот орешки его видел.

— Что?

— Катышки, — застенчиво пояснил Савушкин.

Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным, недобрим глазком живая вода.

— А почему он не весь замерз? — спросила Анна Васильевна.

— В нем теплые ключи бьют. Вон видите струйку?

Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку: не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш.

— Тут этих ключей страсть как много, — с увлечением говорил Савушкин. — Ручей-то и под снегом живой...

Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода.

Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, напротив — сразу огустевал и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, ручей был покрыт пленочно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые, легкие тени.

— Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!

— Что вы, Анна Васильевна! Это я сук раскачал, вот и бегают тени...

Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать.

Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя.

А лес все вел и вел их своими сложными, путаными ходами. Казалось, конца-краю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквоженному солнцем сумраку.

Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чашу, стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди. Там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами.

Тропинка обогнула куст боярышника, и лес сразу раздался в стороны: посреди поляны в белых, сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья

почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках.

— Так вот он, зимний дуб!

Он весь блестел мириадами крошечных зеркал, и на какой-то миг Анне Васильевне показалось, что ее тысячекратно повторенное изображение глядит на нее с каждой ветки. И дышалось возле дуба как-то особенно легко, словно и в глубоком своем зимнем сне источал он вешний аромат цветения.

Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий, великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью. Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем.

— Анна Васильевна, поглядите!..

Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую понизу землей с остатками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж.

— Вон как укутался! — Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом.

Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона; ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.

— Притворяется, — засмеялся Савушкин, — будто мертвая. А дай солнышку поиграть, заскачет ой-ой как!



Он продолжал водить ее по своему миру. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры; отощавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей, потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина:

— Ой, мы уже не застанем маму!

Анна Васильевна вздрогнула и поспешно поднесла к глазам часы-браслет — четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала:

— Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется

тебе ходить по шоссе.

Савушкин ничего не ответил, только потупил голову.

«Боже мой! — вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна. — Можно ли яснее признать свое бессилие?» Ей вспомнился сегодняшней урок и все другие ее уроки: как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилён в чувстве; о языке, который должен быть так же свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь.

И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он лежит, этот путь? Отыскать его не легко и не просто, как ключик от Кощева ларца. Но в той не понятой ею радости, с какой выкликали ребята «трактор», «колодец», «скворечник», смутно проглянула для нее первая вешка.

— Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку! Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой.

— Вам спасибо, Анна Васильевна!

Савушкин покраснел. Ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку:

— Я провожу вас...

— Не нужно, Савушкин, я одна дойду.

Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломив кривой ее конец, протянул Анне Васильевне:

— Если сохатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст деру. А лучше просто замахнитесь — с него хватит! Не то еще обидится и вовсе из лесу уйдет.

— Хорошо, Савушкин, я не буду его бить.

Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку: Савушкин не ушел, он издали охранял свою учительницу. И всей теплотой сердца Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненой, небогатой одежде, сын погибшего за Родину солдата и «душевой нянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего.

Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.



Фазиль Искандер

Тринадцатый подвиг Геракла

Тринадцатый погвиз Теракля



Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, вряд ли абсолютно точно.

Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверно, об этом забыли, и мало обращали внимания на свою внешность.



И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален — сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего, был.

Звали его Харламий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть.

Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.

Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервнрует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами.

К счастью, нашего директора не послушались и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде.

Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было просто невысказано. Это было все равно что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся.

Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из горно, на самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом.

Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь и сбежали с урока, то это был, как правило, урок пения.

Бывало, только входит наш Харламий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он заставлял нас смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну, примерно на полсекунды после звонка, а Харламий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом не находилась учительская.

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харламий Диогенович.

В таких случаях он останавливался в дверях, переключив журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход.

Ученик мнетя, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь понезаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харламия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика — редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харламия Диогеновича, что его никто не ожидал и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опоздании, тем более он, скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят.

Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.

Харламий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное, например:

— Принц Уэльский.

Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой за оленями. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу.

Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.

Но вот Харламий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок.



Большоголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему.

Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или там бдитительно вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет. Он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза.

Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было.

Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит:

— Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко.

Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится.

— Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею.

Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может быть, и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею.

— Авдеенко думает, что он лебедь, — поясняет Харлампий Диогенович. — Черный лебедь, — добавляет он через мгновение, намекая на загорелое, угрюмое лицо Авдеенко. — Сахаров, можете продолжать, — говорит Харлампий Диогенович.

Сахаров садится.

— И вы тоже, — обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. — Если, конечно, не сломаете шею... черный лебедь! — твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Авдеенко найдет

в себе силы работать самостоятельно.

Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи.

Главное оружие Харлампия Диогеновича — это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, не лентяй, не лоботряс, не хулиган, а просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним.

И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный.

Надо сказать, что Харламгий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи.

В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении.

Как будто один и тот же снаряд может лететь с разной скоростью! В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом.

Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась.

Мы разделились на две команды и играли до самого звонка.

И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова:

— Ну, как задача?

— Ничего, — говорит он, — решил.

При этом он коротко и значительно кивнул головой в том смысле, что трудности были, но мы их одолели.

— Как так решил? Ведь ответ неправильный?

— Правильный, — кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном, добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие.

Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих — хвататься руками за воздух.

Оказывается, в это время в дверях появился Харламгий Диогенович, но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем

дело, испуганно захлопнул задачник и замер.

Харламий Диогенович прошел на место.

Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харламий Диогенович, наверное, заметил мое волнение и первым меня вызовет.

Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал «Алик», потому что началась война и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом.

Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый остался таким, каким был.

Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка — держать руки на промокашке, от которой я его никак не мог отучить.

— Гитлер капут, — шепнул я в его сторону.

Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче.

Между тем Харламий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка задернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее.

Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание.

— Кто дежурный? — вдруг спросил он.

Я вздохнул, благодарный ему за передышку.

Дежурного не оказалось, и Харламий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока тот стирал, Харламий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен и он ждал, чтобы староста скорее кончил свое нудное протирание. Наконец староста сел.

Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь, и в дверях появилась докторша с медсестрой.

— Извините, это пятый «А»? — спросила доктор.

— Нет, — сказал Харламий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б», он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть.

— Извините, — сказала докторша еще раз и, почему-то помешкав, закрыла дверь.

Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома.

Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов. И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить.

— Можно, я им покажу, где пятый «А»? — сказал я, обнаглев от страха.

Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом, пятый «А» был в одном из флигелей при школьном дворе и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе.

— Покажите, — сказал Харламий Диогенович и слегка приподнял брови.

Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса.

Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними.

— Я покажу вам, где пятый «А», — сказал я.

Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты.

— А нам что, не будете делать? — спросил я.

— Вам на следующем уроке, — сказала докторша, все так же улыбаясь.

— А мы уходим в музей на следующий урок, — сказал я несколько неожиданно даже для себя.

Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека, но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно.

Дело в том, что в прошлом году один пацан из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой.

На самом деле этот пацан все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта Хижина Дореволюционного Бедняка. А потом через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал.

— А мы вас не пустим, — сказала докторша шутливо.

— Что вы, — сказал я, начиная волноваться, — мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей.

— Значит, организованно?

— Да, организованно, — повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей.

— А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в самом деле уйдут, — сказала доктор и остановилась.

Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах.

— Но ведь нам сказали сначала в пятый «А», — заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую.

Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой.

— Какая разница, — сказала докторша и решительно повернулась.

— Мальчику не терпится испытать мужество, да?

— Я малярик, — сказал я, отстраняя личную заинтересованность, — мне уколы делали тыщу раз.

— Ну, малярик, веди нас, — сказала докторша.

Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом.

Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и, хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не может припомнить своей мысли.

«Не бойся, Шурик, — думал я, — ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.

— Молодец, Алик, — сказал я тихо Комарову, — такую трудную задачу решил.

Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели, он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка.

Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы.

— Если это необходимо именно сейчас, — сказал Харламий Диогенович, мельком взглянув на меня, — я не могу возражать. Авдеенко, на место, — кивнул он Шурику.

Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи.

Класс заволновался, но Харламий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным.

Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки,

бутылочки, враждебно сверкающие инструменты.

— Ну, кто из вас самый смелый? — сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.

Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.

— Будем вызывать по списку, — сказал Харламий Диогенович, — потому что здесь сплошные герои.

Он раскрыл журнал.

— Авдеенко, — сказал Харламий Диогенович и поднял голову.

Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.

Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше: получить двойку или идти первым на укол.

Он поднял рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.

Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.

Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.

— Отвернись и не смотри, — говорил я ему.

— Я не могу отвернуться, — отвечал он затравленным шепотом.

— Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарство, — подготавливал я его.

— Я худой, — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, — мне будет очень больно.

— Ничего, — отвечал я, — лишь бы в кость не попала иголка.

— У меня одни кости, — отчаянно шептал он, — обязательно попадут.

— А ты расслабься, — говорил я ему, похлопывая его по спине, — тогда не попадут.

Спина его от напряжения была твердая, как доска.

— Я и так слабый, — отвечал он, ничего не понимая, — я малокровный.

— Худые не бывают малокровными, — строго возразил я ему. — Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.

У меня была хроническая малярия, и сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.

К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.

Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и, когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока для чего.

После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.

— Скорую помощь! — закричал я. — Побегу позвоню!

Харламий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.

Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.

— ...Даже не почувствовал, — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.

— Молодец, малярик, — сказала докторша.

Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».

— Еще потрите, — сказал я, — надо, чтобы лекарство разошлось.

Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.

Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный — лекарства. Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.

— Откройте окно, — сказал Харламий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.

Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.

— Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, — сказал он и остановился. Щелк, щелк — перебрал он две бусины справа налево. — Один молодой человек хотел исправить греческую мифологию, — добавил он и опять остановился. Щелк, щелк!

«Смотри, чего захотел!» — подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую

мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую завалющую мифологию, может быть, и можно подправить, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.

— Он хотел совершить тринадцатый подвиг Геракла, — продолжал Харламий Диогенович, — и это ему отчасти удалось.

Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.

— Геракл совершил свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости... — Харламий Диогенович задумался и прибавил: — Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг...

Щелк! На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.

Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харламия Диогеновича.

— ...Мне кажется, я догадываюсь, — проговорил он и посмотрел на меня.

Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху вlepилось в спину.

— Прошу вас, — сказал он и жестом пригласил меня к доске.

— Меня? — переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.

— Да, именно вас, бесстрашный малярик, — сказал он.

Я поплелся к доске.

— Расскажите, как вы решили задачу, — спросил он спокойно, и — щелк, щелк! — две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.

Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней.

Я смотрел краем глаза на доску, пытаюсь по записанным действиям восстановить причину этих действий, но ничего сообразить не мог. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок — и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.

— Мы вас слушаем, — сказал Харламий Диогенович, не глядя на меня.

— Артиллерийский снаряд... — сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.

— Дальше, — проговорил Харламий Диогенович, вежливо выждав.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я упрямо, надеясь по инерции этих правильных слов

пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаюсь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь. — Артиллерийский снаряд... — повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.

В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.

— Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? — спросил Харламий Диогенович с доброжелательным любопытством.

Он это спросил так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку.

— Да, — быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.

— Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, — сказал Харламий Диогенович, но класс уже и так смеялся.

Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.

Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружались во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.

Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харламий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.

С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.

Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.

Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.

Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.

Я, понятно, об этом несколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод

Харлампия Диогеновича. Смехом он, разумеется, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.



Николай Никонов

Три рассказа Татьяны Сергеевны



Урок

— Ну-с, первый урок у вас в пятом «Б», — сказал Семен Ильич и указал на застекленную витрину, где висело расписание.

Он посмеивался, потирал руки, точно сообщил мне что-то необычно приятное, исключительное, — видимо, был доволен, что я прибыла к началу занятий вовремя и теперь школа укомплектована, занятия начнутся нормально, без срывов и перестановок. Директор поглядывал на меня, ожидая, что я что-нибудь отвечу, а я стояла перед этим расписанием в полированной витрине, и легкий морозец ходил по рукам и спине, так что все время хотелось вздрогнуть. Директор хотел что-то еще добавить, но в это время дверь учительской медленно

открылась, в ней появился пухлый обшарпанный портфель, а затем в дверь стал пролезать, протискиваясь боком огромнейший мужчина.



— Здравствуйте, Алексей Никанорович! — поспешил навстречу низенький Семен Ильич, как бы стремительно уменьшаясь перед мамонтовой величиной этого человека в черном костюме, пиджак и брюки которого приподнимал солидный живот.

И все вдруг словно повернулось к этому человеку: и столы, и стулья, и расписание, а учителя стали закрывать журналы, здоровались, вставали, иные тихонько уходили.

— Инспектор облоно! — шепотом сообщила учительница начальных классов Агафья Ионовна, даже с виду боязливо робкая, бледная, поглядывающая как-то быстро и исподлобья. — Вот беда-то... Нагрязнул! Ну как пойдет по урокам? В прошлом году Лидию Анатольевну, завуча начальной школы, до слез довел — все ему не так, не этак... Пойду-ка я. — Она быстренько собрала портфель и тихо, как виноватая, держа голову набок, начала пробираться к выходу из учительской.

Алексей Никанорович между тем утирал лицо платком, что-то говорил громким голосом, громко смеялся: «Хха-хха-хха-хха». Возле него, как лилипут перед Гулливером, закинув лысую голову, улыбался директор. Когда Семен Ильич улыбается, глаза у него совсем пропадают и кажется, он пробует что-то очень сладкое — такое сладкое, точно и мед и сахар вместе.

Перед звонком в учительской не осталось никого — только директор, я и этот человек-гора, инспектор облоно.

— А, познакомьтесь, Алексей Никанорович, — наша новенькая... Татьяна Сергеевна. Выпускница. Приехала по распределению. Так сказать, смена, молодой кадр. Сегодня — первый урок.

Алексей Никанорович посмотрел выпуклыми голубовато-серыми глазами не то с улыбкой, не то с какой-то гримасой, — ей-богу, сейчас он очень походил на людоеда из сказок братьев Гримм. Вот губы его раздвинулись широко, оттуда выглянули редкие, разделенные и какие-то

очень людоедские зубы.

— Оччень приятно. Оччень приятно... — сказал он густейшим басом, наклоня голову и покачивая ею, кивал как-то сверху вниз.

Неожиданно и резко заверещал звонок, и я вздрогнула, что-то натянулось во мне, подобралось и задрожало, хотя внешне я, наверное, выглядела даже излишне спокойной и, кажется, улыбалась. Я взяла журнал и рабочие планы и уже хотела идти, как вдруг директор спросил, беспокойно оглядывая пустую учительскую и обращаясь к инспектору:

— Пойдете на уроки?

Взгляд Семена Ильича остановил меня.

— А как же, как же... — прогрохотал Алексей Никанорович. — Как же...

— Тогда вот-с, может быть... э... к Татьяне Сергеевне? Татьяна Сергеевна, с вашего позволения, конечно...

Но я поняла, что никакого моего «позволения» не требуется, что сказанное — приказ, да еще с подкладкой: «Ну уж не вздумай осрамиться, голубушка! Да-да. Не подведи школу, оправдай доверие...»

Алексей Никанорович как бы удивленно и оценивающе взглянул на меня, потом на Семена Ильича, потом снова на меня, хмыкнул и сказал:

— Ну что ж... Можно...

Сердце мое упало, как писали в старинных романах. Впрочем, упало оно еще раньше, до того как Алексей Никанорович сказал: «Можно...» Я почувствовала, что хорошо бы мне сейчас присесть, никуда не идти, а просто посидеть... Поискала глазами графин — он был пуст. Очевидно, все-таки я не выдала себя и внешне была так же чересчур спокойна, так же вежливо улыбалась, потому что ни директор, ни Алексей Никанорович ничего не заметили.

Семен Ильич так же сахарно таял в коридоре, провожая нас, забегая вперед, инспектор тяжело ступал следом, а я чувствовала себя крохотной девочкой, за которой идет великан, — вся холодела, даже по щекам ходил мороз.

Я не видела, что это за класс, просто подошла к какой-то комнате за минуту до того, как заглянул туда, опередив нас, директор: там был крик, гам и визг. Сейчас же установилась тишина, я вошла, и передо мной поднялось нечто серо-коричневое, многоголовое, многоглазое — оно так и воспринималось как целое и вместе: глаза, стрижки, воротнички, бантики, белые переднички, ни одного отдельного лица.

— Садитесь, — с трудом выдохнула я шерстяным, застревающим голосом.

И это многоглазое уселось с тем же мягким шорохом и стуком, с каким и возникло.

Алексей Никанорович проследовал на заднюю парту, а так как парты были маленькие и ни за одной бы он не поместился, он попросил двух изумленных его величиной мальчиков пересесть, и они тотчас, испуганно, как мышки, скользнули вперед и сели, оглядываясь, — Впрочем, оглядывался весь класс. Алексей Никанорович сел прямо на парту, с хищным щелканьем расстегнул портфель, достал толстую тетрадь и авторучку.

А я стояла как в тумане, выпрямившись, держась крепко за спинку стула, и смотрела только на инспектора, на все его движения, на авторучку, которую он близоруко поднял к глазам, на свет разглядывая, не зацепился ли волосок за перо.

Что мне было делать? Я вдруг забыла все, все, все... Планы уроков у меня были подготовлены на неделю, и там было расписано и повторение, и понятие о фонетике, звуки и буквы, гласные и согласные. Но не об этом я думала сейчас. Сейчас просто все перепуталось, руки мои, стиснутые на спинке стула, дрожали, язык словно бы отнялся, я с трудом передохнула и, пытаясь успокоиться, стала вызывать учеников по журналу. Они вставали и садились один за другим, но я никого не запоминала, ничего не видела, кроме уменьшающегося списка, — мне очень хотелось, чтоб список был подольше, — и несколько раз голос у меня срывался, я вздрагивала, продолжала это бессмысленное чтение. Но вот и последняя фамилия, последний мальчик, который сказал: «Я!» — и сел. Я взглянула на парту, где восседал инспектор, и увидела, что он быстро-быстро строчит в тетради, укоризненно пошевеливая губами, покачивая головой.

Эти его движения вконец расстроили меня, я еле собралась с духом, чтобы сказать, нет, не сказать — пролепетать:

— А сейчас, дети... мы... мы будем заниматься... фонетикой...

Меня так и опалило: да почему фонетикой? Почему? Ведь надо же начинать с повторения за четвертый класс. И в тетради у меня так запланировано. Сначала повторение, потом фонетика. Но я уже сказала это слово и не могла вернуться... Я никак не могла раскрыть тетрадь с планом...

Мне казалось, что, едва я загляну туда, инспектор сейчас же поймет, что ничего я не знаю, что могу читать только по бумажке, и это поймут ученики, которых я пока не вижу, поймут и навсегда запомнят, какой я неумелый, беспомощный учитель. Итак:

— Фонетика... это... Это наука... Наука...

«Ой, но ведь все-таки надо начинать с повторения, узнать, что они забыли, что — нет. Надо вспомнить части речи, разделы грамматики» — так думала я, может быть даже лихорадочно — тут подходит это затрепанное определение, — словно бы разделяясь на два человека, причем один был спокоен и рассудителен, а другой дрожал и метался, но язык мой уж подлинно был моим врагом, потому что он продолжал начатое:

— Наука... фонетика... изучает...

«Да о чем же она? Что изучает? Что же это такое, ничего не могу вспомнить! Изучает, изучает... «Фонетика изучает звуковой строй языка», — вспомнилось определение, которое давали в институте. — Но ведь здесь так не скажешь. Здесь надо проще, понятнее. При чем тут «строй»? Перед глазами шеренги солдат в шинелях. Ну, господи! Ну! Не могу вспомнить, хоть убей, это простое определение из учебника».

— Фонетика, дети, это часть... («Какая часть? Опять в глазах строй солдат. Ах, да... часть грамматики...») Это наука... («о звуковом строе языка» — я даже слышала голос нашего институтского лингвиста доцента Степанова). Я чувствовала, как бледнею, краснею, снова бледнею, прижимала руки к груди и только видела, как инспектор там пишет, пишет, пишет... Быстро дрожит авторучка.

И я поняла — не могу вести урок. Не могу. И кажется, это поняли мои новые ученики, потому

что в классе стояла та самая тишина, которую называют гробовой.

Словно бы не управляя собой, а подчиняясь кому-то, я закрыла журнал, положила на него планы и, как лунатик в сомнамбулическом сне, пошла из класса, даже дверь притворила очень тихо, точно боялась кого-то испугать или разбудить. Ноги сами собой ступали куда-то, двигались мимо стены и окна, уходили вниз ступеньки лестницы.

Очнулась лишь в конце верхнего коридора, где, гулко стучая по плитусам шваброй, мыла пол старуха техничка. Мне вдруг показалось, что сейчас меня будет тошнить от еще никогда не испытанного мерзкого, морозного страха, и, пересиливая этот внезапный мороз и дурноту, я стала смотреть в окно, там видны спокойные ясно-золотые липы, голубой сентябрьский туман, в который погружены безмолвные улицы поселка. Ближе за крышами зелено и солнечно, но уже по-осеннему голубел лес. Он переходил в сплошные синие горы, пологие и бесконечные. А под липами на желтой спортивной площадке суетились, метались с мячом ребята — играли в баскетбол. Сбоку площадки стоял физкультурник Виктор Васильевич — типичный школьный физкультурник, в синем тренировочном костюме, в кедах, несколько уже располневший, с небольшой лысинкой, с лицом кисловатым, исполненным спортивного пренебрежения и спокойствия. Время от времени он подносил к губам свисток и что-то показывал на пальцах.

Я вспомнила, как он посмотрел на меня, когда я впервые пришла в учительскую, и как, даже спиной, чувствовала его взгляд, по-спортивному детально прошедший по мне снизу вверх и обратно...

Виктор Васильевич был единственный мужчина-учитель, если не считать Семена Ильича, и был не женат. Все это сообщила мне в тот же день Агафья Ионовна и при этом смотрела на меня так, точно хотела немедленно узнать, не хочу ли я выйти замуж за физкультурника...

И тут я вздрогнула. Что же? Что же это? Почему я стою тут, раздумываю о какой-то чепухе, — я, учительница, которая сбежала с первого своего урока?! Конечно, после такой истории меня немедленно выставят из школы, а инспектор-людоед напишет такую характеристику, что прощай моя учительская карьера — какая там «карьерка»! — просто мне, видимо, делать нечего в школе. Ведь в общем-то, я сама виновата, смалодушничала, перепугалась, растерялась. Как такое случилось? Ведь я уже вела уроки. На «хорошо» сдала практику в позапрошлом году, а в прошлом на «отлично». Еще полтора месяца замещала заболевшую учительницу... Эти красные лакированные туфли на широком каблуке куплены на заработанные деньги. Помню, как радовалась, что все у меня получается, ребята хорошо слушают, тетради в порядке, в план я почти не заглядываю, материал знаю.

Что со мной случилось? Или во всем виновата фонетика, которую я действительно не люблю, хотя и знаю, и все могу объяснить. «Наука о звуковом строе языка», — снова возник в ушах голос Степанова.

Что случилось? Неужели так подействовал испуг учителей, этот инспектор? Как мне быть? Ведь это же для школы ЧП! Чрезвычайное происшествие! Учитель, в присутствии инспектора облоно, бросил класс и ушел. Я представила лицо Семена Ильича, лицо завуча старших классов, величаво плавающей по школе полной дамы с прической-кувшином, представила, как эта дама будет меня отчитывать, неподвижно уставясь круглыми вишневыми глазами, а директор будет только качать головой и ахать. Опозорила школу. Знаменитую, прославленную на весь район, об этом мне сообщили в первую очередь, когда в роно оформляли трудовую книжку, сказали, что я еду в «стоцентную» десятилетку, где работают двое заслуженных учителей (их на весь район — три), шесть отличников народного образования (их на весь район

— одиннадцать), столько-то орденосцев и награжденных. Сообщая эти сведения, меня хотели обрадовать, но лишь сильнее напугали. И теперь я первая нанесла удар по стопроцентному благополучию, поставила под сомнение успехи, опорочила знаменитую школу, и скоро об этом узнает весь поселок, район, может быть, область, новость из ряда вон — учитель сбежал с урока в присутствии инспектора.

Надо уходить немедленно. Сейчас пойду прямо к Семену Ильичу, не дожидаясь звонка и позора. Напишу заявление, положу на стол и уйду. Куда? Не знаю... Куда-нибудь. Пойду хоть на железную дорогу подбивать костыли, менять шпалы. Недавно, еще до начала занятий, одолеваемая тоской по городу, по дому, по родным и подругам, я пошла гулять и незаметно оказалась за поселком, инстинктивно шла к городу по ровной двухколейной линии. Было тепло, даже жарко, летали бабочки, и я, оглядевшись — кругом был только лес, — сняла кофточку — пусть позагорают плечи. Я шла между рельсов, задумавшись, опустив голову, ощущая только то ласковое грустное тепло, дальний шум станции, лесные ветерки и запах шпал. Хорошо было идти так и думать о чем-то легком, не относящемся к себе и отдаленном от себя. Я думала, что дорога идет в мой город, где-то там шумят в таком же голубом тумане улицы, тонут в нем шпили башен и крыши высоких домов. Вся земля кажется доброй, довольной, и все люди спокойными и уверенными — счастливыми. В такие дни не представляется, что кто-то может быть болен, несчастен, отвергнут. И я даже улыбнулась, вспомнив это свое настроение.

— Юбашку-то тожа сыними! — сказал кто-то с татарским акцентом.

Я вздрогнула, прикрылась кофточкой.

На пригорке у насыпи сидела кучка молодых женщин и один парень. Дорожные рабочие. Все они так добро улыбались, что я не рассердилась, только, должно быть, очень густо покраснела — лицу стало горячо. Около линии валялись ломтики, молотки, тачка на одном колесике — на таких по рельсу возят инструмент.

— Иди к нам загорать! — сказал парень. — Что ты такая невеселая? Жить весела нада... А по линии не ходи — под поезд попадешь — нам атвищать.

Он еще что-то говорил, а я уже не слушала...

Да что это со мной? Вспоминаю не знаю что... Скорее надо к директору. Все равно сейчас звонок. А что же там, в классе?

Я спустилась обратно, как провинившаяся школьница, на цыпочках подошла к своему классу, прислушалась. Там было обычное шелестение тетрадок, покашливание, стук мела по доске — спокойный шум занятого класса. «Кто же занимается?» — подумала я с изумлением. Но не открывать же дверь — она обязательно заскрипит, кроме того, ничто так не привлекает внимания сидящих в классе, как даже едва задетые двери. И тут я услышала голос Алексея Никаноровича. Размеренно, басовито он начал диктовать правило. Повторял. Диктовал опять.

— Ну вот. Сейчас пример... Ну-ка, кто Семенов? А-а? Хорошо... Скажи-ка пример на правило. А все думайте, думайте. Ищите свои примеры. Вот. Верно. Молодец. Садись. Кто еще? Правильно. Еще? Очень хорошо. А теперь спрошу, кто руки не поднимает. Ну-ка, милый, вот ты, на предпоследней парте. Да-да. Давай-ка, брат, пример. Хорошо. Хорошо... Видишь, знает — а руки не поднимает...

Этот голос управлял классом, как дирижерская палочка. Красная, растерянная, я слушала и не могла уйти. Ведь вот как надо!

Точно опытный пианист, использующий всю клавиатуру, Алексей Никанорович вел мой урок, и я не помню, сколько стояла под дверью, пока отрезвляющий звонок не заставил меня отпрянуть, отойти к окну.

Очень долго тянулась минута. Наконец из класса боком начала вытесняться гигантская фигура инспектора с журналом и моими планами в одной руке, с портфелем — в другой. Кажется, я видела инспектора затылком, а может быть полуобернувшись. Не помню.

Алексей Никанорович пошел было грузно по коридору, но, заметив меня, вернулся.

Я так и сжалась.

— Послушайте, — сказал он, надвигаясь. — Э-э... Как вас зовут, простите, опять забыл...

— Таня... — сказала я. — Татьяна Сергеевна.

— Ну вот, я...

Но к нам уже спешил директор, издалека улыбаясь, опять весь сияющий и счастливый. Лицо Семена Ильича было такое, точно он только что вышел из парной бани, красное, с фиолетовым оттенком. Как-то странно глядя одним глазом на инспектора, другим — на меня и еще улыбаясь в придачу, он спросил:

— Ну-с? Как? Каково? Как урок?

— Урок? — переспросил Алексей Никанорович. — Урок прекрасный. Великолепный урок. Татьяна Сергеевна — это учитель с большим будущим. Да-да. Это я вам говорю...

Я не знала, смеется он, шутит ли... Но когда робко взглянула вверх, поняла, что инспектор не шутит и не смеется. Он был прост и величав. И лицо его, широкое, толстое, пожилое, совсем не показалось мне ни людоедским, ни безобразным — просто лицо умного большого человека, выдавшего все на своем веку.

— Ах, да... Возьмите-ка планы, — сказал он, легонько касаясь моего плеча. — Хорошие планы... И — дерзайте. Все у вас будет хорошо.

Эту фразу, наверное, поняли только мы двое. Потому что директор лишь сиял, получив одобрение начальства.

В тот же день Алексей Никанорович уехал. И никто-никто не знал об этом первом моем уроке. Лишь теперь, через двадцать лет, я решилась рассказать о нем. Это был в самом деле замечательный урок.



Воробушек

Миша Сафиулин был самый незаметный в классе, а может быть, и во всей школе. Бывают такие мальчишки: учатся всегда худо, с двойки на тройку или, как говорит наш завуч Веселый (это фамилия), «между плохо и очень плохо», но не хулиганят, воды не замутят, нигде их не слышно. Когда в нашем районе построили большую новую школу, часть учеников перевели

туда. Конечно, в такую школу директор с завучем постарались отдать не самых лучших учеников. Завуч Веселый включил в список и Мишу Сафиулина. «Пусть идет, — сказал Веселый, — по-моему, это крепкий двоечник».

Я не стала возражать, ведь двойка — это снижение успеваемости. Каждый двоечник, особенно «крепкий», снижает успеваемость на два с половиной процента, и завуч Веселый будет отчитывать меня в конце четверти за эти самые проценты. В конце четверти интересно бывает зайти к нам в учительскую — только и слышишь:

— Тамара Васильевна! Ну как вам не стыдно, опять четыре двойки!

— Алексей Дмитриевич, сколько вы мне двоек дали?

— Нет, это невозможно. По всем предметам Борисов успевает, а по географии? Неужели уж по географии нельзя ему тройку?

— Нина Петровна, Татьяна Сергеевна! В таком виде ведомость не приму. Что это? Одни двойки... Вызывайте, исправляйте, работайте. Виданное дело! Восемьдесят девять процентов. Да вы что? Креста на вас нет! — Это, конечно, Веселый.

В конце концов наша школа всегда дает ровную успеваемость — девяносто четыре и пять десятых процента. Завуч умеет вести бухгалтерию. А нынче и совсем хорошо: крепких двоечников сдали в школу-новостройку, и Веселый сияет. Все хорошо.

Примерно около месяца Миши Сафиулина не было. Никто этого, кажется, не замечал, не замечала и я, тем более что четвертый «А» был для меня новым классом, только что начавшим заниматься по новой программе. С такими малышами я еще никогда не работала. После усатых, говоривших басом выпускников и модных девушек, так и норовивших проскочить на уроки в высоких сапогах, в «мини», или в «макси» вместо школьной формы, четвероклассники показались сначала чуть ли не одинаковыми ясельными младенцами, которых надо водить за ручку, кормить с ложки и считать парами по головам. Правда, скоро я поняла, что ошибалась. Маленькие существа оказались весьма разнообразными, невероятно бойкими, смышленными не по возрасту, а лучше сказать — не по росту. В перемены в коридоре они облепляли меня, как пчелы перед роением, а от сплошного «почему-почему-почему» голова шла кругом.

Скоро я научилась не только различать их по именам и фамилиям, но и по характерам, узнала, кто упрям, кто мягок, кто труслив, кого можно осадить только суровым окриком, а кто, наоборот, от окрика только ошестинится, надуется, и такого проймешь только добрым словом, оно пробивает безошибочно, даже до горячих слез.

Как раз в это время познания их и себя и я заметила на последней парте мальчика, смуглого, с карими затаенно-напуганными глазенками, и вспомнила: это же Сафиулин! Оказывается, он даже не сидел, а стоял за партой — был так мал ростом, что издали казался сидящим.

— Ты что? Откуда ты? — спросила я. — Сафиулин?

— ...

— Он уж третий день ходит! — сообщили девочки из актива, которые есть во всяком классе.

— Почему не в той школе?

Миша, надув губы, молчал.

— Почему?

— А меня... не взяли...

— Почему?

— ...

— Что же ты молчишь?

— Сказали... двоек много...

— А где же ты был целый месяц?

Миша совсем опустил голову, словно бы внимательно разглядывая парту, водил по ней пальцем.

— Где был-то?

— Бегал...

— Учился бы лучше. Сюда пришел...

— А чо, раз меня выгнали, дак...

— Не надо было столько двоек набирать...

— ...

— Что же ты не садишься?

— А тут стула нет (в этом классе сидели на стульях).

— Так и будешь стоять?

— Он уж третий день стоит! — сообщили девочки.

— Иди и принеси стул!

— А где его взять?..

— В учительской.

— Ну-у-у... — Миша опять стал рассматривать парту.

— Что «ну»?

— Я боюсь... в учительскую.

— Сейчас вот я тебе принесу стул, — ответила я сердито.

А он принял всерьез и сказал:

— Не надо... Не носите...

— Что ж, ты все уроки стоять будешь? Иди за стулом!

Миша пошел. Вернулся он к концу урока и без стула.

— Где стул?

— А его... нету...

На следующем уроке был русский язык в том же четвертом «А». Я вошла и увидела, что Миша стоит по-прежнему без стула, вернулась в учительскую и принесла ему стул.

Миша покраснел до вишневого цвета, но стул взял, унес на место и сел. Однако вскоре я заметила, что он сидит без дела.

— Почему не пишешь?

Он тихонько встал.

— Ну?

— У меня... тетрадки нету...

— Где она?

— ...

— Тетradка где?

— Дома...

— На, возьми новую и пиши.

Подошел за тетрадь, осторожно взял давно не выдавшей мыла рукой, осторожно понес, склонив набок стриженую черную голову.

Через минуту посмотрела — сидит не пишет, хоть и пригнулся.

— Сафиулин! Почему не пишешь?

Опять встал.

— А у меня... ручка...

— Что «ручка»? — уже начинаю кипятиться.

— Нету... ручки...

— ?..

— ...

— !

— ...

— Ты зачем это в школу пришел, а? Почему ничего нет? Руки грязные! Лицо не мытое! Воротничка нет! Тетради нет! Ручки нет! Ничего нет! — В другое время я, может быть, сдержалась бы, но сейчас именно это обстоятельство: нет ручки, а у меня нет лишней — вывело из себя. — Почему нет ручки?!

— Мамка деньги не получила.

— Кем она у тебя работает?!

— Уборщицей.

Кто-то фыркает.

— Это что еще? Это что?! Что за смех? Если школу никто мыть-убирать не станет, можно заниматься в неубранной школе? Можно, я спрашиваю?

— Не-е-е-ет!

(Воспитательный момент. Понемногу успокаиваюсь.)

— Что, у тебя мама мало зарабатывает?

— Нет... Она на двух работах работает... В больнице и в садике...

— Что ж не купит тебе ручку?

— А папка... у нас... пьет...

Он сказал это совсем глухо, под нос, и тотчас перестал казаться мне смешным, убогим, запущенным, этот черномазый мальчик с давно не мытыми руками.

«Надо будет вызвать отца на собрание — поговорить, побывать у него дома, познакомиться с матерью, — подумала я. — Кстати, скоро будет родительское собрание...»

— Садись, — сказала я.

Я не сразу выбралась в гости к Мише Сафиулину. Отец на собрание не пришел. Мать же я повидала, но ничего не добились от тихой, такой же, как Миша, смугловатой маленькой женщины. Она не производила впечатления, как это писали в старину, «забитой» или глупой, просто на все мои слова и упреки она только молча смотрела на меня темными мягкими и где-то в самой глубине недоверчивыми глазами, точно говорила: «Ну да... Ладно. Конечно. Мы виноваты, что запустили сына. Но все-таки зря вы тут волнуетесь-кипятитесь... Вырастет он, выучится как-нибудь... А мне за ним следить некогда...»

— Что же вы на мужа своего не влияете? — говорила я и чувствовала: не то, не то говорю. Какие уж тут «влияния»!

Дня через два после собрания я пошла к заболевшей Лиде Смирновой и по дороге решила заглянуть к Мише.

Жил он в новом районе, построенном недавно на месте снесенных бараков. Долго путалась-блуждала среди серых, размещенных в непонятном порядке домов и корпусов, пока наконец

нашла нужный номер и подъезд. Была суббота. Вечерело. На красный закат летели галки. Синел на крышах недавний снег. Из-за домов тянуло холодом. Я промерзла и с удовольствием окунулась в надежное тепло подъезда, во все его субботние звуки. Орало в подъезде не в меру включенное радио, гудели, завывая, стиральные машины, где-то пели, а может быть, и танцевали. Вверху, не обращая внимания на все это веселье, кто-то размеренно колотил: тук-тук... бах-бах-бах... бах-бах. Я прошла мимо стучащего лысого человека в полосатых пижамных брюках на резинке, и человек не только осмотрел меня, скривив от любопытства губы как-то на одну сторону, а еще и снизу пытался поглядеть. Я поднялась на последний, пятый этаж и увидела на подоконнике Мишу. Он сидел и гладил кошку. Кошка была худая, некрасивая, с обмороженными ушами. Но она смиренно сидела перед Мишей, смотрела на него преданно-любовно, как могут смотреть только животные, выражая взглядом все то, что могли бы выразить языком, если б умели говорить. Оба они, Миша и кошка, вздрогнули, испугались меня, кошка даже пригнулась, готовая бежать. А Миша встал.

— Ты что тут сидишь? Папа дома? — спросила я.

Он покраснел своим темным румянцем, стоял полуотвернувшись.

— Да ведь я не жаловаться на тебя пришла, — попыталась я успокоить его. — Просто ко всем по списку хожу. Вот была у Смирновой. Теперь к вам зашла. Дома папа?

— ...Дома.

Я поискала звонок.

— А тут не закрыто...

Я постучала.

На стук вышла девочка, вернее девушка, с одной густо накрашенной бровью — другая еще ждала краски.

— Ой, здравствуйте... Заходите... Вы Мишина учительница? А папка у нас спит.

— Тогда я...

— Да я его сейчас разбужу. Он уж давно спит.

В комнате на кровати храпел невысокий мужчина и густо-терпко пахло разлитым вином, а также пудрой и духами. В другой комнате, у зеркала, сидели еще две девочки того же возраста, что и хозяйка, видимо подружки, в меру красивые, не в меру накрашенные. Должно быть, я оторвала их от этого любимого занятия. Девочки явно куда-то собирались.

Разбуженный мужчина долго моргал, жмурился, жевал, отдувался, сидя на кровати. Потом сказал, сразу переходя к делу:

— Вы из-за Мишки? Балует?

— Да нет же. Просто знакомлюсь с бытовыми условиями учеников...

Мужчина подавил зевок. Еще поморгал. Еще зевнул. Припухшие глаза его стали внимательнее и кислее. Я молчала. Все приготовленные, обдуманно заранее речи и обвинения как-то вдруг улетучились: я почувствовала, что не смогу сказать этому человеку то, что сказала бы в школе,

опираясь на молчаливую поддержку ее стен. Сказать сейчас ему, встрепанному, заспанному: «Опомнитесь! Зачем вы пьете?» И он, конечно, сейчас же рассердится, может быть, даже закричит... Скажет: «Какое ваше дело? Пью на свои...» и т. д. Я хотела спросить, как и когда готовит Миша уроки. Где его стол? Проверяют ли родители задания? Когда Миша ложится спать... и когда встает? Но все мои вопросы показались теперь, едва я взглянула на этого родителя, до того ненужными, искусственными, даже глупыми, что я молчала, и мы просто разглядывали друг друга. «Как готовит уроки?» Но этот папа вообще вряд ли интересуется такими пустяками. Учится, ходит в школу — все... Где стол? Вот он. Какой еще? Еще вон есть в той комнате, в кухне... Каждому по столу, что ли? Следят ли за режимом? Что еще за режим? Захочет спать — ляжет. Захочет есть — наестся. Вот такие ответы читала я на заспанно-похмельном лице. И все-таки спросила учительским, не своим, голосом:

— Как живет Миша? В чем нуждается?

Родитель на кровати посмотрел на меня.

— Как живет? — сказал он, налегая на «ы». — А ничего... Сыт, обут... Ну конечно, мы люди неученые, может, что недоглядим. Вот вы, конечно, ученые... вам видней. А мы неученые... Но все-таки... То есть, значит... Пью маленько... Но с устатку. Почему не выпить? Правильно я говорю? Ну вот... А вам, конечно... Мать, поди-ко, жаловалась... А вы ее... это... не слушайте... Я тоже понимаю. Пить зашибом не следует. Ну, а седни ведь суббота. Да... — подавил зевок, глаза посоловели. — Да... А за Мишкой наблюдаем. Ленивый он... то правда. Драть надо чаще...

— Зачем же драть? — прервала я.

Родитель осклабился:

— Ну как... Меня вон в детстве моем атес так порол. Шкуру, можно сказать, снимал. А все-таки учиться я не стал... ФЗО только кончил... Ну, вы, конечно, люди ученые, а мы — неученые. Но тоже сказать, кому как ученье... Кому идет в голову, а кому — нет...

В общем, все было мне ясно, понятно без объяснений, и, поговорив еще, чтоб воротничок Мише не забывали пришивать, а руки бы он мыл почище, я ушла, провожаемая вежливо-пьяненьким напутствием:

— Спасибо, значит... Вы, конечно, извините. Вы ученые, а мы неученые, но тоже...

Девочка-девушка, теперь уже с обеими хорошо накрашенными бровями, закрыла за мной дверь.

Миши в подъезде не было. Я увидела его во дворе, где уже сумеречно, по-осеннему синело. Он что-то делал, сидя на ящике, а возле него, склонив головы в разные стороны, сидели две дворовые собаки — рыжая и черная.

Так состоялось знакомство с Мишей Сафиулиным и его родителями. В общем-то, оно не пропало даром. Миша стал приходить в школу почище. Воротничок хоть и не всегда, но был пришит, и я восприняла это как знамение лучшего. Потом я устроила Мишу в группу продленного дня, и, кажется, он этим был очень доволен. Одного не могла добиться: учился Миша по-прежнему, тихонько получал двойки, тихонько исправлял их на тройки и тихонько прогуливал, оправдываясь, что «болела голова», «ездил к бабушке» и тому подобное, а иногда Миша просто отмалчивался, — оставалось махнуть рукой.

Прошла первая четверть, прошла вторая, прошли зимние елочные каникулы. В школе еще

долго пахло елкой, висели на окнах забытые бумажные снежинки и фольговые дождины. После каникул наступили январские холода. Каждый день, передавая сводку погоды, диктор говорил: «Сегодня в городе и окрестностях температура утром минус тридцать пять — минус сорок...»

Занятия в младших классах отменили. Но не все ученики пользовались случаем продлить каникулы. Ежедневно у входа в вестибюль я встречала десяток-полтора закутанных до глаз живых матрешек, которые, постепенно освобождаясь от шалей и платков, превращались то в Таню Синицину, то в Нину Красину, то в Сережу Ползунова. Ходил в школу и Миша Сафиулин. Не очень-то закутанный, лишь с завязанной шапкой, стуча промерзлыми сапожонками, он долго переминался у порога, швыркал, хлюпал, вытирал морозные слезы и, только оттаяв, начинал раздеваться.

Однажды утром был такой мороз, что из десятка моих героев не пришел никто. За окнами школы стоял туман. Визжала дверь, впуская седых с мороза, непохожих на себя старшекласников. И все, входя, кричали, охали, говорили: «Ну и морозище! Наверное, пятьдесят! А завтра еще больше будет!» И все были веселы.

Я постояла в вестибюле до звонка и, решив, что уроков не будет, хотела идти в учительскую. Но тут дверь еще раз приотворилась, и в облаке мятущегося морозного пара вошло, а лучше сказать — протиснулось нечто скрюченное, заиндевелое, которое и оказалось Мишей Сафиулиным.

— Да ты что это?! — удивилась и рассердилась я, хотя как будто бы его именно и ждала. — Что это ты? Зачем? В такой холод? Все равно же не будет уроков! Никто не пришел...

Миша молчал, шмыгал носом, одной рукой отирал иней с ресниц, стучал сапожонками, и мне стало его жаль.

— Ой! Ты же без варежек?! Где варежки?

— Хффф. Хх...е-е-есть, — сказал он.

— Где?

— Хфф... Во-от. — Он вытянул из-за пазухи варежку и в ней еще что-то.

— Что там у тебя?

Миша молчал, потом лицо его начало освещаться.

— У меня... там... воробушек...

— Кто?

— Воробушек.

— Где ты его взял?

— А он на дороге лежал... Я его взял.

— Живой?

— Не знаю... Ага... Я его грею...

Из варежки действительно выглядывала головка воробья с прищуренными веками.

— Да ведь ты сам-то, наверное, обморозился! — ужаснулась я, глядя на его синие руки.

— Хм, не-ет... Я — ничо... Я быстро бежал...

— Миша, — сказала я, — пойдём-ка в класс. Согрейся. А потом я тебя провожу домой.

Миша молча пошел за мной по лестнице, все заглядывая в варежку и дуя в нее.

В классе было тепло, хотя окна замерзли доверху. Миша побрел было на свою парту, но я не велела ему туда идти, сказала, чтоб сел к батарее-радиатору.

— Надо ведь накормить твоего воробья.

Я спустилась в буфет, взяла у тети Фисы булочек, пирожков и чаю, принесла в класс.

Миша грелся у батареи, а рядом прямо на радиаторе сидел, качался на тонких ножках спасенный оживающий воробей.

Оба они — воробей и Миша — чем-то походили друг на друга.

Увидев чай и пирожки, Миша очень сконфузился. Долго отнекивался, наконец взял стакан обеими руками, стал пить, сначала тихо, а потом обыкновенно, сопя и причмокивая. Воробей тоже открыл глаза, хлопал ими удивленно и перестал качаться. Потом он прыгнул на подоконник, сунулся несколько раз в стекло и замер. Миша бросил ему крошек, и воробей вдруг начал жадно их клевать, давился, замирал с крошкой во рту, а потом судорожно проглатывал ее и снова клевал.

Напившись чаю, Миша спросил, можно ли идти домой, засобиравшись, наотрез отказался от проводов, забрал воробья и исчез.

— Где же твой воробушек? — спросила я дня через три, когда мороз ослабел и школа снова стала работать нормально.

Миша мрачно рассматривал свои сапожонки, не поднимая глаз, сказал:

— А у меня... его выпустили...

— Кто выпустил?

— Лидка... сестра. Ей папка велел.

— Тебе жаль воробья?

— Ага... Я его приучать хотел...

— Говорят «приучать», — поправила я.

— Ага... Приучать...

После случая с воробьем Миша потеплел ко мне. И учиться он стал лучше, хоть и не было пока блестящих успехов. Прогуливать он тоже перестал. Я радовалась, но, как оказалось,

преждевременно. В начале последней четверти Миша опять каждый день стал бегать с уроков, иногда не являлся вовсе. Девочки сообщили, что Сафиулин ходит кормить собаку, а собака живет где-то в заброшенном дровянике.

Поначалу я не очень верила этим слухам. Но однажды, придя в класс, застала своих питомцев в необычном возбуждении. Класс шумел на все лады, на мое приветствие встал кое-как, и все оборачивались, оборачивались к задней парте, хихикали и переглядывались.

— Что такое? — строго сказала я.

В это время с задней парты среднего ряда донесся жалобный визг.

— Что такое?! — еще строже спросила я и пошла к задней парте.

Ясно стало все сразу.

Миша Сафиулин, перемазанный, красный, отчаянно пытался затолкать в парту кого-то упирающегося. Когда я подошла ближе, он растерялся еще больше, а из-под парты выглянула прехорошенькая собачья мордочка, глупая, черномазая и перепуганная.

Класс замер. Все ждали разноса и молчали.

— Отпусти его! — сказала я.

Щенок тотчас вывалился на пол, взвизгнул и, тряся хвостом, переваливаясь, побежал ко мне, такой милый, неуклюжий и обрадованный. Он встал передо мной, вытаращив голубоватые глазенки, и вдруг сказал: «Тяф!» Даже припал немножко от удовольствия.

— Где ты его взял?

— А он тут... у школы бегал.

— Татьяна Сергеевна! Татьяна Сергеевна! Он врет... То есть обманывает, — сказали девочки, ожидая моей поддержки.

— Да ничо я не вру... Он теперь за мной бегаёт везде. Так... — пробурчал Миша.

— Это та собака, которую ты ходил кормить? — спросила я.

Миша покраснел еще больше.

— Почему же ты не ходил после уроков? Зачем же надо было сбегать?

— А там... собаку-то зарезало трамваем. А щенки остались... А я ходил. Сперва корм им собирал, а потом... кормил. Я их роздал уже. А этот мой... Домой меня с ним не пускают...

И второй раз я увидела — человека. Мне стало вдруг стыдно и совестно за свой суровый тон, за этот допрос.

— Вот что, — нашлась я, к счастью, — пойди во двор. Кажется, там есть конура. Раньше там жила собака. Устрой своего щенка и возвращайся. Пусть он живет при школе... Хорошо? А теперь садитесь.

И класс зашумел, усаживаясь. И все добро смотрели, оборачивались на меня и на Мишу.

Должно быть, я поднялась в глазах и мнении этих малышей. Учительница — которая не нашумела, не выгнала, не послала за матерью, даже разрешила уйти с урока.

— Счас я... Счас... — заторопился Миша. Он схватил щенка, опрометью помчался из класса. Последнее, что мы увидели, — голубой и покорный взгляд щенячьих глаз.

Когда через урок я пришла с перемены в учительскую и раскрыла журнал, там лежала записка.

«Пожалуста извините миня».

Ниже стояла роспись. Такой маленький рыболовный крючок.



Лекарство

Горло у меня болело уже четвертую неделю. Я знала, что это ларингит — болезнь учительская, что горло надо беречь, щадить, не перетруждать. Его нужно полоскать содой, не пить холодного, не есть острого, соленого (а я это как раз люблю), не соблазняться на мороженое, не... Все это я выполняла через силу, а оно болело резко, сухо, нудно, и — самая главная беда — теперь можно было говорить только шепотом: голос пропал. Я перепробовала все домашние средства: грелки, картофельный пар, соль и соль плюс соду плюс две капли йода. Так советовала всезнающая старушка соседка, которая встречала меня на лестнице, расспрашивала и сокрушалась: такая молодая — и уже без голоса. Были использованы все средства медицинские от эвкалиптовой настойки, пахнувшей Австралией, до бурого настоя календулы — бог знает, что это за снадобье, от него во рту долго бывает и сладко, и горько, и солоно на все лады. Теперь соседка советует полоскать керосином.

А впрочем, зачем я это рассказываю, кто-нибудь из вас будет учителем и сам узнает все.

Хуже было то, что сказала мне молодая белокурая врачиха с неприятными равнодушно-узенькими глазами за стеклами толстых очков. Она была чем-то сильно раздражена или не поладила с только что вышедшим из кабинета старичком пенсионером, из тех, которые обычно спрашивают: «Так, значит, по сколько капелек-то вы мне выписали? А это не опасно? Нет? Ну хорошо... Как принимать-то? Значит, утром и вечером? Хорошо. А в какой аптеке-то лучше купить? Вы, милая, не обижайтесь — память плохая. Написано, говорите... Ну, написано — это одно, а сказано — лучше. По сколько капелек-то вы мне выписали? Ага! Значит, два раза утром и вечером? Ну хорошо. А как принимать-то? С водичкой или так? Ну ладно. Значит, по двадцать капелек?»

Похоже, это был один из таких пациентов, потому что и за дверями он еще что-то спрашивал, разглядывал рецепт на свет.

Конечно, она была раздражена. Она сказала: «Учительница? С таким горлом поставьте на школе крест... — И буркнула сестре: — Выпишите больничный. Хронический ларингит».

Не хотелось ничего объяснять этой женщине. И я ушла, унося голубую бумажку, где круглым почерком сестры было написано: «Хронический ларингит. Режим амбулаторный», и еще две бумажки на прогревание и смазывание. Ужасное смазывание! Когда в горло лезут тампоном на

проволоке и ты давишься тошнотворной обжигающей сладко-йодной дрянью, кашляешь, вытираешь слезы, а потом уходишь, поблагодарив, — и впрямь ведь большое спасибо, что отпустили, — а за дверью слышишь устоявшийся голос: «Следующий!» — провожаешь взглядом очередного страдальца.

Я припомнила всех врачей, к кому водила судьба. Какие же были разные!

Самый первый — тогда я только начала работать в школе — был остриженный под машинку старичок, круглолицый и безмятежно розовый, вся голова у него светилась люминесцентной серебряной щетиной и брови казались тоже серебряные.

Больных к нему не было. Он сидел у стола и читал толстую книгу в старинном коричневом переплете с черными продранными углами: «Жизнь животных» Альфреда Брема. Книгу он даже не закрыл, только чуть отодвинул. Он весь лучился спокойной докторской благодатью, как июньское солнышко из-за облаков. Надвинув айболитовское зеркало, он ласково-заботливо заглянул мне в рот, зачем-то слазил еще в уши холодными стальными трубочками, заглянул в нос, разодрав его круглыми блестящими щипцами, и, отложив их на стеклянный столик, сказал те слова, которые я услышала потом от всех: «Ларингит. Перегрузили горлышко. Смазывание. Полоскание. Ложку соды на стакан...» Сам написал рецепт, улыбнулся и опять принялся за «Жизнь животных».

Другой врач был тоже старик, но совсем не похожий на первого; высохший, желчный — живая мумия в комбинированных очках. Говорил он медленно и сердито, точно я провинилась перед ним: «Так... Покажите язык (наверное, нет ничего смешнее, если смотреть со стороны на показывающего язык). Так... Говорите: «А-а!» («А-а-а-а», — идиотски тянула я.) Мда... Фа... Мда... Учительница? Вижу... Хроник... Запущенное горло... Так... Полоскание... Смазывание... Ложку соды... Горло берегите...»

И вот эта третья врачиха, к которой я пришла только потому, что теперь уже потеряла голос. Нет голоса. Это страшно. Я никогда не думала, что потеряю его. Мой голос всегда был при мне, как нечто такое, что нельзя отнять, и вот его не стало. Совсем. И что же теперь делать? Как быть дальше? Пусть болит горло. Пусть...

К этому я как-то привыкла, но не могу же я без голоса вести уроки. Останется теперь одно: перейти в школу для глухонемых, осваивать ручной язык. Я тотчас же попробовала, как буду объяснять на пальцах, движениями губ и лица. Взглянула в зеркало — стало смешно: взрослый человек, а кривляется... Впрочем, мы взрослые, наверное, потому, что считаем себя такими, все время напоминаем себе: ты взрослый, взрослый, взрослый, веди себя так-то, это тебе можно, это нельзя.

Да... Вот подумайте о себе, представьте, что вы не Татьяна Сергеевна, а просто женщина, человек. Ведь учителей (по крайней мере, ученики) не считают за обыкновенных людей. Учитель — человек особый, ему ничего не прощают, за ним следят строго, судят беспощадно, оправдания не принимают во внимание. Он должен быть, как говорил наш доцент Степанов еще в институте, всевидящим, всезнающим, всеблагим, всесвятым. Мы, студентки, смеялись над суровым доцентом, принимали его слова за шутку, но в школе я скоро поняла, как он был прав, как легкомысленны были мы, девчонки, еще ничем не похожие даже на будущих учителей.

Плохо — если ты не всевидящий: ты не чувствуешь тогда, как на тебя смотрят, подмечают, во что ты одета сегодня, и завтра, и вчера, и как причесана, и даже как сидят на ногах чулки, не

сбился ли шов, не криво ли надеты, не видишь, какой отзвук имеют твои слова на лицах Любы, Володи, Пети и Тамары. А как надо уметь это видеть — иногда жалеешь, что глаза всего два. Учителю надо видеть и спиной. Худо — если ты не всезнающий: тебя раскусят с первого же урока, поймут все твои слабости, и твой страх, и твоё незнание и первый же вопрос тебе зададут как раз о том, о чём у тебя самой смутное представление. Нехорошо — если ты не добр и не находишь слова приветия самому отчаянному хулигану и самому запущенному лодырю — хулиганы и лодыри больше всего боятся доброты. А если имеется все в наличии, ты и будешь таким — всесвятым. Это, конечно, шутка, но ведь и в шутке есть своя правда.

Я хожу по комнате, никак не могу ни присесть, ни остановиться, — так ходят, должно быть, звери, когда нет выхода, а движение помогает переносить неволю. В квартире тепло, уютно и солнечно, блестит полированная поверхность стола, блестят фужеры за стеклом серванта, блестит недавно вымытый пол — все радуется, посмеивается, никак не соответствует моему настроению, состоянию, мыслям.

Конечно, теперь придется «бросить» школу, уйти, хоть проработано уже двадцать лет. Не так уж мало, если посчитать каждый день, отданный школе, грохоту ее перемен, тишине коридоров, напряжению уроков, возвращениям домой, когда идешь усталая, рассолоделая и в голове все еще слова завуча, директорские нотации, лица учеников, какая-нибудь надоедливая подробность вроде того, как разнимала двух дерущихся пятиклассников и как оба они плакали, размазывая злые мальчишеские слезы. Но ведь работают в школах и по пятьдесят лет.

У нас есть две такие старушки, очень ласковые, заслуженно награжденные орденами, — одна в начальной школе и одна в пятых — восьмых. Их всегда ставят в пример на педсоветах, и они, кажется, никогда не уходят из школы. Когда бы я ни пришла, Алевтина Кондратьевна уже в учительской, надев очки, методично перебрасывает тетрадку за тетрадкой, стопу за стопой, или она пьет чай в буфете, неторопливо, истово, по-старушечьи, или сидит за столом в своем классе, и вокруг нее, как цыплята возле наседки, толпятся, обступают, торчат чьи-то светлые и темные косички, стриженные затылки, белые воротнички, а на передней парте всегда один и с надутыми губами какой-нибудь угрюмый, мазанный чернилами мальчик, из тех, кого в школе называют трудными.

От Алевтины Кондратьевны ничем не отличается Мария Тихоновна, только она помоложе, но с таким же заботливым, добрым, школьным лицом.

Я смотрю на них, на заслуженных старушек, и, в общем-то, не хочется им уподобляться. У меня есть своя жизнь, я люблю многое, что не совмещалось со званием учительницы еще со времен Беликова — люблю ездить на велосипеде, ходить в теплые вечера на каток, весной и осенью в лес с этюдником (этюды пока складываю за шкафы), я люблю играть в волейбол и, если бы были женские команды, играла бы, наверное, в футбол и в хоккей — говорят, до войны такие команды были, и жаль, что их нет сейчас, нашлись бы игроки, а болельщики и подавно. А в общем, забавно было бы — учительница играет в хоккей, но играет же в Канаде пастор!

Я преподаю русский язык и литературу, и я люблю этот язык и эту литературу. Но все-таки попробуйте интересно провести урок на склонение существительных, на спряжение глаголов, на правописание суффиксов «ушк-юшк», «ашк-яшк». Только чудотворец способен оживить втиснутую в программу скуку. Иногда это удается почти невероятным усилием, иногда не получается, не оживают суффиксы и приставки, а класс возится, начинает шуметь, и тогда выручает голос.

Конечно, есть где-нибудь такие учителя-чудотворцы, и наш директор любит повторять на педсоветах, что нет плохих учеников — есть плохие учителя. (В ответ на это всегда думаешь:

нет плохих учителей — есть плохие директора.) Сам он уроки не ведет; когда не ведешь уроки, легче всего представить себя непогрешимым, зато и авторитет твой никогда не будет таким, как у того генерала, который сам садился в танк и первым вел танк в бой. Иногда мне жаль нашего умного директора: он такой лысенький, напыщенно-важный, с извилистым ртом, он преисполнен самоуважения и самопочитания, и надобно видеть, как он распекает учителей, как произносит: «Это возмутительный факт, вопиющая безответственность!» Из-за одного этого Альберта Викторовича подчас не хочется переступить порог школы.

А еще мое горло страдает потому, что я люблю говорить громко, на уроках читаю вслух, потому что только так можно научить понимать и любить слово, взвешивать его, как на чутких весах; не отсюда ли, в общем-то, другое и противное название учителя-литератора — «словесник», этим словом любят щеголять в докладах инспектора и методисты. Слово... Оно ведь имеет и тяжесть, и музыкальность, и свой особый тон, окраску и аромат — может быть и полированным, и шероховатым, чугунным и легче пуха, не говоря уж о том, как может оно передавать оттенки чувства, смысла, красоты — их стремишься понять прежде сам, попробовать так и сяк, а потом показать ребятам, удивить, заставить восторгаться. Помню, целый урок разбирали одно-единственное слово «спасибо» — урока не хватило, и в перемену на все лады произносили это слово, его синонимы, были довольно поражены — как много значит слово.

Неужели я больше не смогу читать «Ревизора» в лицах?..

«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как ревизор?

Артемий Филиппович. Как ревизор?

Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписанием.

Аммос Федорович. Вот те на!

Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай.

Лука Лукич. Господи боже! Еще и с секретным предписанием!»

Я могу это прочитать... Ну, не верите?! Может быть, лучше всякого актера и мужским голосом:

«Я пригласил вас, господа...» Это надо медленно, озабоченно и как бы сквозь сомкнутые зубы, кривя нижнюю губу с брюзгливой важностью. А «к нам едет ревизор» — тем голосом и с тем досадным выражением, когда сапог жмет ногу, а снять нельзя.

«Как ревизор?» — спрашивает судья. Сказать надо непроходимо-глупо, непонимаемо, словно бы спросонок.

«Как ревизор?» — спрашивает попечитель. И это уж совсем другим голосом, надо по-другому, осмысленно и перепуганно, как мошенник, которого могут накрыть с поличным, который не успел спрятать концы, но еще надеется — время есть...

А Лука Лукич! Этот Лука Лукич удается лучше всего, ведь даже самые равнодушные скептики, вроде Миши Грязнова, который точно ничем не способен интересоваться, кроме собственного самосозерцания, и который сидит за партой, обреченно развалясь, вдруг начинает слушать, и я

рада, очень рада, что могу его расшевелить, могу это прочитать.

Все-таки, наверное, я преувеличиваю привязанность к школе, и никакой тут нет трагедии, что пропал голос. Из жизни никогда не надо делать трагедии. Ведь я литератор, и можно пойти куда-нибудь в газету, издательство, книготорг, многотиражку — там не требуется голос и не надо читать «Ревизора» и «Муму». Только трудно мне будет без школы, где работаю с первого дня, с первого своего урока.

Помню, когда я пришла в школу, в восьмом классе девочки устроили мне экзамен. Нарочно приносили списанные откуда-нибудь предложения потруднее, просили «помочь» расставить знаки. Предложения были огромные, запутанные, из Тургенева, из Толстого, из Бунина, и я очень боялась, что налечу на какой-нибудь авторский знак, поставленный вопреки правилам, и надо мной будут смеяться, не станут верить. Особенно усердствовала в преподнесении таких текстов Майя Останкина — девочка, которой негласно подчинялся весь класс, и, конечно, эта Майка, с широкими, бойкими, недоверчивыми, даже немного нахальными глазами семейной любимицы, никогда не думала, наверное, что я всего на шесть лет старше, что сама недавно сидела на скрипучей школьной скамейке и сама подсовывала Анне Владимировне предложения потруднее.

Я спаслась от проверок своим же собственным диктантом, из сотни труднейших слов, по счастью сохранившимся у меня со школьных времен. Всякие там аллеи, галереи, подъячие...

Грамотеи получили по двойке и перестали испытывать мои знания. Спасибо Анне Владимировне!

За окном на голем блекло-зеленом тополе прыгает синичка. Она скачет вдоль ветки, оглядывает ее, тихонько звенит и такая веселая, довольная. Скоро весна, синичка, конечно, знает это, как чувствует, наверное, и тополь — так спокойно устремлены его ветви в пока еще холодное солнечно-белое небо. Вот тут все просто, беспечально: синичка, тополь, небо и ожидание весны. А почему мне сегодня так больно, тяжело, точно я не в своей квартире, а где-то заточенная и отделенная от всех и мне туда отрезаны все пути.

В общем, решено. Из школы уйду. Само так получилось. Да и муж все время твердит об этом. Перед осенью, когда в школах распределяют нагрузку, у нас бывают семейные столкновения. «Зачем тебе много часов? — говорит он. — Всех денег не заработаешь, а дома разор, беспорядок». «Где ты, справедливость?» — думаю я, глядя на него. Правда, устаю от школы. Прихожу иногда за день постаревшая словно бы на год, смотрю в зеркало на появившиеся у глаз морщины, и тяжело, что проходит моя молодость, только не хочется, никак не хочется этому верить. Самой старой я считала себя в двадцать пять, в тридцать думала — молодость до тридцати пяти, сейчас думаю: может быть, еще останусь молодой лет пять после сорока? А что буду думать тогда? Иногда кажется: лечь бы, выспаться беззаботно, как в детстве, детским сном, и сразу сбежали бы эти годы, и проснулась бы с легкостью во всем теле, даже с тихой ломотой, радостным звоном пробуждения в отдохнувшей, ничем не отягченной голове. А спать некогда, потому что надо отправить ребят в школу, приготовить завтрак, накормить мужа, подумать об обеде, написать планы, сходить в магазин, проверить тетради, вечером хочется куда-нибудь в кино или просто на улицу, и снова знаешь, что ждут тетради, которые никогда не кончаются, как не кончаются в них ошибки. Ложусь спать всегда с одной мыслью: хоть бы ночь была подольше, а утро не так скоро...

Значит, решено. Я отошла от окна. Синичка улетела. А тополю было безразлично все. Он спокойно ждал весны в своей неведомой, непонятной отрешенности. Я подумала только, что

деревья, наверное, счастливее людей: их жизнь проста, величава, недоступна печали и все в ней идет по порядку — молодость, зрелость, старость. Они равно красивы и юными побегими, и дуплистой старостью, живут долго, и не в этом ли истинная мудрость жизни: не терзать себя волнениями, следовать простому житейскому пути. У деревьев нет голоса — только шепот. И у меня теперь нет голоса. Но все-таки волноваться не стоит, голос, возможно, вернется, в конце концов, ларингит, хоть и хронический, не ахти какая болезнь, ведь я даже обрадовалась тогда больничному листу — в самом деле: температуры нет, можно заниматься чем угодно, ходить куда угодно.

За эти недели я все прибрала, вычистила, вымыла, перестирала, обед всегда вовремя приготовлен, даже находится время полежать, почитать, пока одна... А где-то там, словно бы очень далеко, живет школа, идут уроки, звенят звонки, от гвалта на переменах дрожат стекла и кто-то ведет мои уроки, за меня читает «Ревизора» и проверяет тетрадки. Может быть, меня уже забыли, не числят в учителях... Но, в конце концов, я ведь не дезертир, я просто ухожу, как уходит из строя раненый ветеран, и никто не будет смеяться мне в спину. Я потеряла голос, но не потеряла свое лицо, и хватит, довольно рассуждать и мучиться... Кто это там звонит?

От такого дружного «Здравствуйте!», должно быть, вздрогнул дом. Они пришли — весь мой девятый «В», до единого человека. Когда я разместила их в большой комнате, сама не знала, куда деться, — со всех сторон блестящие, всезнающие, любопытные глаза.

— Татьяна Сергеевна! Мы пришли, — сказал Грязнов. — Говорят, что вы потеряли голос. И что вы не вернетесь... Мы просим вас... Не уходите... И — вот... — Он достал из-за спины пучок красных и белых тюльпанов.

Где они их взяли? Зимой!

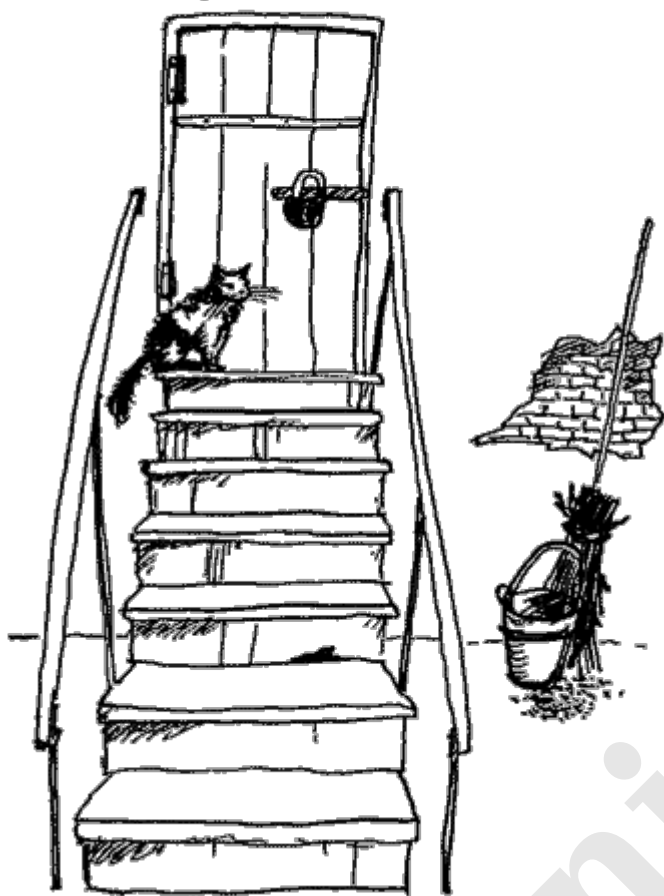
— Ребята! — сказала я и почувствовала, как краснею от шеи до волос. Мне стало стыдно, я не верила своим ушам. Я же сказала это громко, своим обыкновенным и звучным голосом. Он вернулся вдруг, мой голос. И я едва закончила, подавляя слезы: — Я... я выздоровела... Через день-два я приду... Я приду...



Юрий Сотник

Исследователи

Исследователи



Как-то раз, еще будучи студентом-практикантом, я присутствовал на уроке Николая Николаевича.

Николай Николаевич стоял, вытянувшись перед классом, чуть приподняв седую бородку клинышком. Белая, вся в вихрах и завитушках шевелюра его резко выделялась на фоне классной доски, а черная суконная блуза — «толстовка» почти сливалась с ней. В правой руке он держал раскрытую книгу, в левой — пенсне на черной тесемочке. Не глядя в книгу, чуть помахивая пенсне, он взволнованно читал:



*Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..*

Сидя на самой задней парте, я видел перед собой тридцать шесть затылков и по ним мог судить о том, с каким вниманием слушают ребята Николая Николаевича. Темные и белобрысые, с косами и без кос — все затылки держались на слегка вытянутых шеях и были совершенно неподвижны.

Но вдруг два затылка — один рыжий, другой черный — оживленно задвигались. Двое мальчишек, сидевших на одной парте, принялись указывать друг другу куда-то под потолок и громко шептаться.

Николай Николаевич укоризненно взглянул на ребят. Те угомонились, но ненадолго. Вскоре рыжий поднял маленький грязный кулак и кому-то им погрозил.

Несколько учеников возмущенно взглянули на рыжего. Николай Николаевич нервно дернул бородкой в его сторону.

— Анатолий, голубчик! Если тебе неинтересно, можешь выйти из класса, но другим слушать, пожалуйста, не мешай, — сказал он сдержанно и продолжал чтение.

Дойдя до второй части стихотворения, Николай Николаевич понизил голос. Гневно поглядывая на класс, он стал читать медленно и тяжело:

*А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!*

— Хи-хи! — раздалось в классе.

Николай Николаевич захлопнул книгу.

— Я не могу... — заговорил он подрагивающим голосом. — Я не могу продолжать урок при таком отношении к творчеству Михаила Юрьевича. Я убедительно прошу Анатолия выйти из класса и не мешать коллективу работать.

Рыжий мальчишка сидел за своей партой не шевелясь.

— Толька, выйди!.. Слышишь? Выходи, Толька! — закричало несколько голосов.

Толька вздохнул на весь класс и направился к двери.

— Виноват! Минутку! — проговорил Николай Николаевич. — Подойди, пожалуйста, сюда.

Мальчишка повернулся и подошел к учителю. Маленькое лицо его было светло-малинового цвета, на нем такие же рыжие, как волосы, поблескивали веснушки, и из этого пестрого окружения тоскливо смотрели небольшие голубые глаза.

Николай Николаевич осторожно приподнял кончик красного галстука, висевшего на шее у Анатолия.

— Что это такое? — спросил он.

— Галстук, — тихо сказал мальчишка.

— Какой галстук?

— Пионерский.

Мальчишка не проговорил, а прохрипел это, но все в классе услышали его.

Николай Николаевич серьезно посмотрел на класс:

— Обращаю внимание товарищей пионеров на это явление. Анатолия прошу подождать меня возле учительской.

Николай Николаевич умолк и протянул руку с пенсне по направлению к двери. Мальчишка с напряженной физиономией вышел из класса.

— Безобразие! До чего разболтались! — пробормотал Николай Николаевич, снова раскрывая книгу.

Но в это время сдержанно засмеялся один ученик, потом другой, третий, и через несколько секунд уже громко хохотал весь класс. Все смотрели туда, куда только что глядел пострадавший Анатолий.

Посмотрел туда и Николай Николаевич. Посмотрел и я.

На стене, под самым потолком, была вентиляционная отдушина, прикрытая железной решеткой величиной с тетрадь. И за этой решеткой виднелось человеческое лицо. Николай Николаевич сразу притих. Мягкими шажками он сошел с кафедры и стал напротив решетки,

заложив руки за спину.

— Эт-то что такое? — проговорил он очень тихо.

В коридоре раздался звонок. Учебный день кончился, но в классе царила такая же тишина, как и в начале урока.

Физиономия за решеткой быстро уплыла в темноту.

Николай Николаевич почти выбежал из класса. Я бросился за ним.

* * *

Мы разыскали дворника, узнали от него, что попасть в вентиляционную систему здания можно только через котельную, и вместе с ним спустились в подвальный этаж. Дверь котельной оказалась запертой. Николай Николаевич шепотом спросил дворника:

— Матвей Иванович, могу я узнать, как они сюда попали?

— Стало быть, через окно, — ответил тот, ковыряя ключом в замке.

Вошли в котельную. Там было прохладно, пахло сажей. Слева, высоко от пола, светились два окна с покатыми подоконниками, справа стояли два бездействующих (был май), коричневых от ржавчины котла. В конце помещения кирпичная стена имела выступ, похожий на огромную голландскую печь. Внизу на выступе имелась металлическая дверка, тоже похожая на печную, но только гораздо больших размеров. Дворник молча указал нам на нее.

— Николай Николаевич... — начал было я.

— Тшшш!

Мы услышали шорох, и все трое тихонько спрятались за котел. Послышалось два приглушенных голоса:

— Ну, чего ты там застрял?

— погоди! Я за что-то зацепился.

Железная дверца приоткрылась, и из нее выполз худенький мальчишка лет двенадцати, с тонкой, очень серьезной физиономией и давно не стриженными волосами, серыми от осевшей на них пыли. Следом за ним появился другой мальчишка, толстый, круглоголовый. Он выглядел примерно на год младше первого.

Оба они принялись хлопать ладонями друг друга по бокам, по спине, и пыль, поднявшаяся от их костюмов, образовала целое облако.

— Знаешь, меня Николай Николаевич, наверно, узнал, — сказал толстый мальчишка. — Я заглянул к нему в класс, а он как увидит да ка-ак закричит: «Это что та...»



Николай Николаевич, стоявший согнувшись за котлом, молча выпрямился. Выпрямились и мы с дворником. У обоих мальчишек челюсти отвисли от ужаса.

Заложив руки за спину, учитель приблизился к ним.

— Итак, что вы делали, позвольте узнать? — ровным голосом спросил он.

Мальчишки молчали. Толстый рассеянно смотрел на кирпичную стену подвала, тонкий шевелил носком ботинка валявшийся на полу кусочек кокса.

— Ну-с! Я жду!

Толстый поднял на Николая Николаевича полные грусти выпуклые глаза и, снова опустив их, прошептал:

— Исследовали...

— Просто лазили, — тихо поправил его товарищ.

— И для этого сбежали с урока?

«Исследователи» молчали.

— Блестяще! — сказал Николай Николаевич. — А знаете ли, дорогие, как можно назвать ваш поступок? Растратой государственных средств! Да, да! Самой настоящей растратой

государственных средств. Государство тратит огромные деньги, чтобы дать вам образование, чтобы сделать из вас людей, а вы что делаете во время занятий? И сами не учитесь и мешаете другим! Как это можно назвать?

Толстый растратчик государственных средств тихонько заплакал. Тонкий наступил каблуком на кусочек кокса и принялся сверлить им цементный пол.

— Идите! И прошу подождать меня возле учительской.

«Исследователи» бесшумно вышли из подвала. Николай Николаевич обратился к дворнику:

— Матвей Иванович, надо запереть эту дверку. Этак много любителей найдется.

— Да тут был замок... Не знаю, куда делся.

— Очень вас прошу: сейчас же найдите новый и повесьте.

Мы с учителем остались одни. Николай Николаевич прошелся по котельной и улыбнулся, покачивая головой.

— Ужас, что за народ! — вздохнул он.

Он помолчал, оглядывая котельную, причем бородка его резко дергалась во все стороны. Потом вздохнул и заговорил мягко, задумчиво:

— Да, милый вы мой! Удивительно все-таки жизнь устроена! Тридцать лет преподаю в этой школе, смотрю на эти отдушины с решетками и ни разу не подумал, что у меня под боком такой лабиринтище.

Он еще раз осмотрелся кругом, нагнулся и зачем-то заглянул под котлы.

— Вот вы живете в доме, живете десятки лет. Уж, казалось бы, вы должны знать его до последней балки. А вы и сотой части не знаете. А потом вот такой... как бы вам сказать... шпингалет открывает вам глаза. А? Милый мой, разве не удивительно?

Я кашлянул и сказал:

— Да... Конечно...

Николай Николаевич теперь прохаживался по котельной и размахивал в воздухе пенсне:

— В конце концов, настоящая любознательность, то есть чисто биологическая страсть к познанию мира, живет в человеке очень недолго... Лет с пятнадцати-шестнадцати мы уже перестаем замечать весьма многие окружающие нас явления. Мы сосредоточиваем свое внимание на... как бы вам, милый мой, сказать... на весьма узкой сфере этих самых явлений... Мм-да!

Николай Николаевич остановился, надел пенсне и принялся разглядывать выступ в стене.

— По всей вероятности... — Он помолчал, соображая. — По всей вероятности, такая система вентиляции в современных домах не строится. Стены слишком тонкие. А это... вы посмотрите... это же целый лабиринт...

Он подошел ближе к выступу:

— Очевидно, это основной, центральный, так сказать, канал... Или шахта. Как вы думаете? А? От него идут ответвления...

Николай Николаевич открыл железную дверцу и нагнулся, заглядывая в нее:

— И в этих ответвлениях... в этих ответвлениях создается своего рода сквозняк...

Голос Николая Николаевича стал еще глуше, потому что он совсем влез в отверстие и теперь стоял выпрямившись в шахте.

Мне стало скучно:

— Пора, Николай Николаевич. Может быть, пойдете...

— А вот тут скобы есть, — донеслось из отверстия, — чтобы лазить... Удивительно, как все предусмотрено! Очевидно, для очистки. Мм-да... Гм! Гм!

Бормотанье Николая Николаевича стало еще глуше и отдаленнее. Я сунул голову в отверстие:

— Пойдете, Николай Николаевич. Уже, наверно, из школы все ушли.

Откуда-то сверху из темноты донесся голос:

— Гм! Вы только посмотрите: эта шахта... Идите-ка сюда. Да нет, вы идите сюда... Вот здесь, на стене, металлические скобы, так вы по ним... Вы обратите внимание, как здесь все предусмотрено... Да вы лезьте сюда. Вот здесь, около меня, уже боковой ход...

Я подумал, что старик обидится, если я его не послушаюсь, и, нащупав скобы, полез во тьму... Вскоре я коснулся головой ботинка Николая Николаевича.

— Виноват, — сказал он.

В это время внизу, в котельной, слышались шаги.

— Николай Николаевич, идет кто-то, неудобно.

— Тш-ш! — прошипел Николай Николаевич.

Мы притихли. Шаги приблизились. Глухо хлопнула металлическая дверца, что-то лязгнуло, потом щелкнуло. Шаги, на этот раз чуть слышные, удалились.

Если раньше можно было видеть слабо освещенное дно шахты, то теперь наступила абсолютная, кромешная темнота.

— Милый вы мой, — забормотал над моей головой Николай Николаевич, — мы, кажется, большую оплошность допустили.

— А именно?..

— Несомненно, это дворник приходил.

— И он запер нас?

— Да, голубчик, по всей вероятности.

— Гм!

— Да-а!

Мы помолчали. Николай Николаевич завозился наверху:

— Вы разрешите мне спуститься. Все-таки, знаете ли, седьмой десяток.

Я сполз по скобам вниз, за мной — педагог. В узкой шахте мы стояли вплотную друг к другу. Я потрогал дверцу:

— Заперта, Николай Николаевич.

Он вздохнул:

— Милый вы мой! Как это все нехорошо получается!

Опять помолчали. Потом я предложил:

— Кричать надо.

— Кричать? Гм! Да... Кричать... Но, знаете, уж больно это будет... как бы вам сказать... странно. Вы же сами понимаете, занятия кончились, но много детей еще осталось: кто в кружках, кто в читальне, а мы будем кричать, и в каждой комнате услышат... «Что такое?» — скажут. «А это Николай Николаевич в трубу забрался и голос подает». Неловко.

— Так что же делать?

— Честное слово, ничего не могу придумать, милый вы мой. Поверите ли... со мной никогда подобных приключений не случилось...

Я сказал, что охотно верю. Я начинал злиться.

Николай Николаевич дотронулся до моего плеча:

— Знаете что, голубчик? Вы человек молодой, ловкий... Может быть, вы слазите в какой-нибудь боковой канал и тихонько, не поднимая шума, скажете кому-нибудь: так, мол, и так, случилось такое досадное происшествие... А? Я вам буду очень признателен за это.

Что ж делать? Я снова нащупал шершавые скобы и стал карабкаться в потемках наверх, жалея, что у меня нет спичек. С каждым движением на меня сыпались какие-то соринки, было очень пыльно, и я чихал. В темноте я не видел, на какую высоту залез, но когда я добрался до первого бокового хода, то вообразил, что вишу над бездонной пропастью. Хорошо, что Николай Николаевич стал тихонько напевать от скуки.

Боковой канал был четырехгранной трубой длиной метров шесть. В конце его сквозь решетку проходил свет. Я лег на живот и стал протискиваться в тесной трубе, засыпанной пылью, кусочками известки и кирпича. Когда я добрался наконец до решетки и стал смотреть через нее, то долго не мог понять, к какому помещению попал. Все оно было заполнено какими-то перегородками. Когда же понял, то полез обратно. Вылезая из трубы, я выгреб своим телом кучу мусора, и он полетел вниз. Николай Николаевич закашлялся, зачихал, потом бодро спросил:

— Ну, каковы результаты?

— Раздевалка, Николай Николаевич.

— Жаль, жаль!

Долго я ползал по пыльным и тесным ходам этого дурацкого лабиринта. И каждый раз попадал или к совершенно пустому классу, или к классу, где занимался какой-нибудь кружок. В конце концов я подполз к учительской. Там вокруг большого овального стола сидели все педагоги школы и слушали выступление директора — высокого человека в кавказской рубахе. Поспешно отступая от учительской, я заметил, что есть еще один канал, перпендикулярный тому, по которому я полз. Я залез в него, добрался до решетки, заглянул сквозь нее и сразу дернулся назад.

Решетка выходила в коридор. В коридоре, как раз напротив решетки, стояли и тихо разговаривали Анатолий (рыжий мальчишка, изгнанный Николаем Николаевичем из класса) и два «исследователя», из-за которых мы попали в эту историю.

Совершенно измученный, я спустился на дно шахты:

— Плохо, Николай Николаевич!

— Никого не нашли?

— Нашел. В учительской заседание педсовета.

— Ох! А я, выходит, не явился.

— А рядом с учительской трое ребят, с которыми у вас должен быть разговор.

Николай Николаевич вздохнул где-то возле моего плеча и прошептал:

— Все еще меня ждут.

Мы помолчали с минуту.

— Итак, милый мой, что же вы предложите?

— Что же предлагать! Нужно опять добраться до учительской.

— Ох, милый мой, что вы! — взволнованно зашептал Николай Николаевич. — Вы все-таки войдите в мое положение... Директор наш и все педагоги — милейшие люди, но... как бы вам сказать... едва ли они смогут понять причины, побудившие меня, старика...

— Эх, Николай Николаевич! А кто их сможет понять, эти причины!

— Мм-да... Конечно, но... Нет, я против этого. Категорически против.

— Ну так что же... Этим вашим мальчишкам говорить?

Николай Николаевич ответил не сразу:

— Видите ли, голубчик... При условии соблюдения ими полнейшей тайны это был бы неплохой выход... Они очень хорошо относятся ко мне, но в данном случае они являются лицами, до некоторой степени от меня зависимыми... Вы ведь знаете, чего они от меня сейчас ждут... И вот поэтому я не считаю себя вправе заставить их оказать мне такую...

— Да бросьте, Николай Николаевич! Я пошутил.

— Нет, почему же «бросьте»... Вы знаете, я нашел выход! Отправляйтесь сейчас к ним...

— К кому?

— К ребятам, разумеется... И скажите, что Николай Николаевич попал в такую-то беду и обращается к каждому из них, как... ну, как человек к человеку. Причем обязательно подчеркните, что неприятный разговор у меня с ними все равно будет, это мой долг, а к ним обращаюсь как человек к человеку, а не как педагог или там начальство...

— Бросьте, Николай Николаевич. Только что распекли их за это дело, а сами...

— Ну, знаете, милый вы мой... Они прекрасно знают, что я распекал их за пренебрежение занятиями, а не за вполне естественную любознательность, здоровую страсть к исследованиям. Если бы, голубчик, не было этой страсти, Америка не была бы открыта.

— Тогда уж лучше сообщить о нашем положении кому-нибудь одному из них, а не всем троим. Но вот как это сделать?

— Не надо! Один разболтает. Обязательно разболтает. А трое — никогда. Ступайте! Ступайте! Они поймут. Только прежде всего возьмите с них слово, что все останется в тайне.

— Все-таки тайну нужно сохранить? — пробормотал я.

— Ничего не поделаешь. Нужно считаться... как бы вам сказать... со своего рода условностями. Ступайте, дорогой. Ступайте!

Николай Николаевич тихонько подталкивал меня, пока я снова не полез по скобам во тьму.

Добравшись до нужной решетки, я долго смотрел через нее на мальчишек. Они уже не разговаривали, а переминались с ноги на ногу, тоскливо поглядывая в конец коридора. Рыжий Анатолий присел на корточки у стены, вынул из кармана карандаш и принялся грызть его, отдирая зубами мелкие щепочки.

Долговязый «исследователь» вентиляционных каналов проговорил:

— Да не придет он. Уже, наверно, из школы ушел.

Рыжий даже не взглянул на него:

— Да, «не придет»! Не знаешь, так молчи уж.

— А что?

«Исследователи» сели рядом с Анатолием.

— А то! Ты в четвертом?

— В четвертом.

— Он у вас не преподает еще. Вот перейдешь в пятый, тогда узнаешь!

Рыжий некоторое время трудился над своим карандашом, потом вдруг повернулся к

«исследователю»:

— Знаешь самое первое правило для хорошего педагога? Никогда с детьми не трепись зря. Сказал — и делай. А Николай Николаевич знаешь какой педагог? О нем в «Пионерке» писали.

— Знаю. Только строгий очень, — вздохнул толстый.

— Не будешь с нами строгим, так мы всю школу разнесем. Рыжий снова принялся за карандаш. Я лежал в своей норе, таращил на них глаза и глотал от волнения слюну. Лишь минуты через две я собрался с духом и прошептал:

— Мальчики!

Они не услышали. Толстый опять заговорил:

— А кто это молодой такой? С ним был.

Анатолий вынул из карандаша графит и стал писать им у себя на ладони.

— Ерунда. Практикант.

Мне стало душно. От пыли свербило в носу. Хотелось чихнуть.



— Мальчики! Мальчики! Ребята! — шепнул я уже погромче.

Все трое дернули головами, разом поднялись и уставились на меня. Толстый мальчишка

тихонько хохотнул:

— Во! Еще один!

Анатолий швырнул в решетку мусор, оставшийся от карандаша:

— Тебе здорово всыплют! Их уже поймали.

— Ребята!.. Мальчики!.. Я не то... Я говорю, я не тот, кто вы думаете. Я к вам как человек к человеку (тьфу, черт!)... Одним словом, я к вам по поручению... ну, от Николая Николаевича... Вернее, не от Николая Николаевича, а...

— Чего ты там бормочешь? — спросил толстый.

— Я говорю... Видите ли, какая штука... Николай Николаевич... Ну, просто к вам обращается. Тут маленькая неприятность вышла... Одним словом, нас заперли... Дворник запер. И вот мы... Нечаянно, конечно, запер...

Рыжий вдруг перестал скалить зубы.

— Вы кто: практикант? — догадался он.

— Ну конечно, практикант! — обрадовался я и стал говорить более внятно: — По некоторым причинам, ребята, мы с Николаем Николаевичем оказались запертыми в этой штуке. И вот Николай Николаевич обращается к вам с просьбой выручить нас, но так, чтобы никто не знал.

Все мальчишки просияли, как будто я предложил им ехать на Северный полюс.

— Где заперли? Ту дверку? — спросил тощий мальчишка.

— Ну да. Внизу.

Толстый от восторга ударил своего приятеля по спине:

— Вот это Николай Николаевич!

Анатолий тянул их обоих за рукава:

— Пошли! Пошли!

— Сейчас выручим, — сказал толстый.

Вся тройка собралась было умчаться, но я остановил их:

— Только, ребята, Николай Николаевич просил дать честное пионерское, что вы никому — ни слова.

Анатолий кивнул головой:

— Конечно! А как же!

Выбравшись из канала и спустившись к учителю, я услышал возню за дверцей и возбужденный шепот:

— Ты гвоздем! Гвоздем его надо!..

* * *

Через полчаса Николай Николаевич сидел за партой в пустом классе. Возле него стояли трое мальчишек и смотрели на него во все глаза. Разговор о трудовой дисциплине, о том, как дорог каждый час учебы, был закончен.

— Нет, голубчик. Я думаю, что твое предположение неверно, — говорил Николай Николаевич, укладывая пенсне в футляр. — Теоретически, может быть, и возможно, что такая система вентиляции способствует поддержанию более или менее одинаковой температуры во всех помещениях, но практически... Ведь ты, наверно, обратил внимание, что...

Толстый мальчишка перебил его:

— Николай Николаевич... а зачем вы туда полезли?

Николай Николаевич посмотрел на него, потом улыбнулся.

— Знаешь, в старину говорили: лукавый попутал...

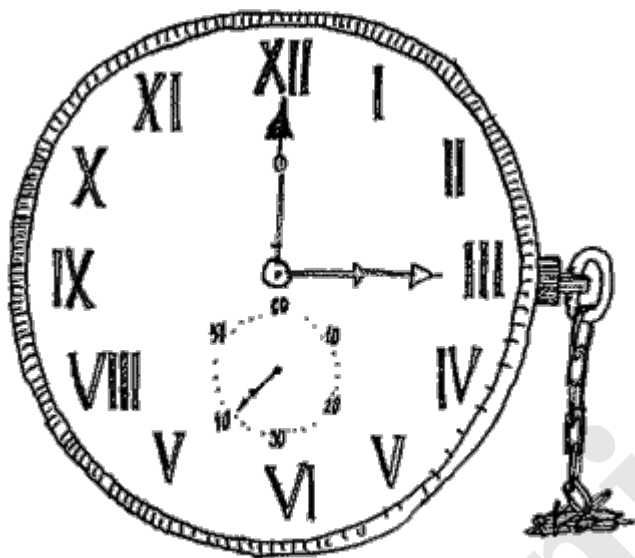
— Гы-ы! — хором сказали мальчишки и вполне удовлетворились его ответом.



Глеб Горышин

Любовь к литературе

Любовь к литературе



В жизни каждого человека бывают учителя. Один учит словесности, другой математике, третий естествознанию. Еще бывает четвертый, пятый — много учителей. Человека все учат и учат.

И вот ты стал педагогом, инженером, артистом, научным работником, журналистом. Сам начинаешь кого-то учить. И забываешь своих учителей.



Но обязательно вспомнишь. Как будто кто-то положит сильную руку на твой, возможно, облетевший, как одуванчик, затылок: оборотись! И оборотишься — в свое лопухое отрочество, в ломкую младость. В клубящейся мгле изжитого времени проступят лица твоих учителей.

Они тебя позабыли: таких, как ты, у них было много. Но у тебя они были одни, твои...

Учителей к тебе приставляла судьба разных: одних ты любил, других не очень. Так же и науки: одни пригодились, другие забыты (а все равно пригодились). На первом месте учитель литературы и русского языка. Его наука стала основой твоего духовного существа. Как научил тебя твой словесник, так ты и думаешь, говоришь, пишешь, читаешь (кое-что сам добрал). Потом — историк, математик, географ, химик, немка (англичанка, француженка). Могли быть: словесница, историчка, математичка, географиня, химичка. (Англичанина, немца, француза в средней школе практически не бывает.)

И еще у каждого из нас когда-то был первый преподаватель физического воспитания...

Чем долее я живу, тем с большей теплотой вспоминаю тех, кто учил меня бегать, метать копье, грести, играть в волейбол, бороться, плавать, прыгать с трамплина. У стартовой черты этих, может быть, самых прекрасных наук стоял мой первый учитель физкультуры, физрук.

Вглядываясь в лица моих учителей, я обязательно вижу в общем ряду лицо первого физрука, бесконечно милое мне.

Его предмет — физическое воспитание — значился последним в школьном табеле успеваемости, после пения, перед поведением.

Физкультура, конечно, какая наука? Это нечто другое. А что?.. С двойкой по сочинению, по алгебре, по физике аттестата зрелости не дают. С «неудом» по физкультуре... Такого и не бывает.

Но покуда ты строишь в себе духовного человека, телу тоже хочется жить. Телу хочется бегать, прыгать, плавать, мчаться на лыжах или верхом на коне. Телу хочется быть красивым, не сутулым, не узкоплечим, не дряблым, крепко стоять на ногах, дышать полной грудью,

сознавать свою силу, готовность с кем-нибудь побороться и кого-нибудь победить. Телу хочется жить, не старея. А как?!

Мой первый учитель физкультуры был видным парнем, ниже среднего роста, южных (одесских) кровей, смуглокожим и кучерявым. Один его глаз из-под густой черной брови глядел на нас, а другой в Арзамас. Его фамилия была Шленский. Он себя понимал как красавца. Шел сорок пятый год. Каждый мужчина, имевший руки, ноги и голову на плечах, годился тогда в красавцы.

Наша школа была мужская, все ученики в ней были мужского пола, учителя же, как все человечество, делились на две половины: мужскую и женскую.

Математичка Калерия Викторовна — да, это была женщина красивая, волоокая, лет сорока, чуть седеющая и с усами, которые она, кажется, брила. Как многие отроки военных лет, я год не учился, математика мне не давалась. Калерия Викторовна по вечерам, после уроков, занималась со мной два раза в неделю. Она меня вытащила за уши.

Низкий ей за это поклон!

Я не влюбился в математичку. Влюбляются в юных немок, англичанок, француженок и в пионервожатых. До любви нам было тогда далеко в нашей мужской школе. На совместных с девочками вечерах мы жались по углам, от стеснительности прыскали в кулачки. Рано созревающие ныне чувства и потребности, эти самые игры в девочек-мальчиков, в нашем отрочестве были замедлены, загнаны вглубь. Нас воспитывали, как в свое время телят, по методу холодного содержания, с тем чтобы мы, упаси бог, не разнежались, не потратили себя на истому, выросли бы по-спартански закаленными, неподатливыми, жизнестойкими. Мы проходили в школе период яровизации, как семена перед севом.

Историчка наша Тамара Петровна была заслуженная учительница республики. Историю всех времен и народов она преподавала нам с никогда не убывающей в ней личной заинтересованностью, легко выявляла классовый характер даже самых давних событий и движений, расставляла идеологические акценты, делала явными скрытые на первый взгляд окраски, оттенки при расстановке сил на исторической арене. История на уроках Тамары Петровны становилась точной наукой, как математика. Увлеченная своим предметом до непроходящей легкой эйфории, Тамара Петровна находила в ответах своих учеников нечто такое, что пока, быть может, еще и не сформулировано, но верно схвачено. Она была щедра на четверки, пятерки ставила реже. Получить у нее тройку — это надо было уметь. На моей памяти двойку она поставила единственный раз. Ее торжественность и восторженность уберегали нашего брата от двоек по истории. Даже от троек.

Однажды, помню, Тамара Петровна вызвала к доске Юзика Горчинского — виртуоза-шпаргалочника. Он никогда ничего не учил, письменные домашние задания и контрольные списывал. Его шея обладала такими поворотливыми шарнирами, что, казалось, он может повернуть ее не только на 180, но и на 360 градусов. Его уши могли шевелиться на голове в поисках нужного им сигнала, как антенны локатора. Его белесые брови, продолговатый, с плавной горбинкой нос, тонкие губы и острый, резко, как форштевень корабля, выдвинутый вперед подбородок приходили в движение, когда Юзика вызывали к доске, складывались в вопрос, требовали подсказки. Подсказывать можно было в какой угодно форме, хоть на азбуке глухонемых; любой сигнал воспринимался Юзиком, обрабатывался в его мозгу настолько, чтобы ответ потянул на тройку.

Тамара Петровна попросила Юзика Горчинского рассказать об основах правления в государстве Шамиля.

Юзик привел в движение брови, орбиты глаз, губы, подбородок, шею, задергался даже его белобрысый чубчик. Он вышел на связь со своими обычными подсказчиками, обработал полученные сведения, после недолгой паузы приступил к ответу.

— Во главе государства Шамиля... — сказал Юзик и опять сделал паузу. Одни подсказчики показывали Юзику букву «Ш», то есть три пальца, поднятые кверху и один у их основания. Другие крутили вокруг головы, изображая нечто большое, округлое, шапку. — Во главе государства Шамиля, — еще раз сказал Юзик, на мгновение задумался... — стоял Шамиль.

Тамара Петровна сняла с носа пенсне, бегло взглянула на коренастого голубоглазого юношу, то есть вообще-то еще мальчика. На скулах у нее появились первые признаки порозовения, как облачка на небе, освещенные еще не взошедшим, но уже близким светилом. Она ободрила ученика:

— Ну, так. Продолжайте.

Юзик сказал на всякий случай запасную, подстраховывающую фразу:

— Он носил большую лохматую шапку.

Те, кто подсказывали Юзику, едва ли знали больше о формах правления в государстве Шамиля, чем сам Юзик. Просто они играли в веселую игру, в пантомиму.

Тамара Петровна надела пенсне. Ее скулы еще более зарумянились.

Подсказчики изображали скачущего на коне всадника.

— Он быстро скакал на коне, — сказал Юзик Горчинский.

— Да, это так, — сказала Тамара Петровна. — Но на чем основывался его авторитет как вождя?

Юзик пропустил этот вопрос учителя мимо ушей, продолжал плести свои петли:

— И никто не мог его догнать.

Юзик тогда получил-таки тройку. На математике, бывало, он зарывался, на истории выезжал. Пятерки Юзик Горчинский получал по черчению, только пятерки. И еще он хорошо играл в волейбол, обладал мягким пасом и хлестким ударом. У него были широкие покатые плечи и длинные, достигающие кистями колен, руки. Он получил аттестат зрелости (математичка Калерия Викторовна была против, но ее уломали), закончил военно-морское училище. В последний раз я видел его с погонами капитан-лейтенанта. Но это было давно. Двойку Тамара Петровна поставила Фритьюфу Мошкину. Такое дали Мошкину имя — Фритьюф. Очевидно, в честь полярного путешественника Фритьюфа Нансена. Родился маленький Мошкин где-то в деревне на Вологодчине. Родители его перебрались в город, но маленький Мошкин и в городе не подрос, он был поистине «мужичок с ноготок», ростом чуть выше парты. В школу он приходил в русских сапожках, деревенским сапожником сшитых, дегтем смазанных, в пиджачке и брючках, тоже дома пошитых. Парнишка он был хитроватый, науки, в общем, схватывал, а когда почему-либо не знал урока, то придуривался, умел разыгрывать потерю дара речи. Мы-то его изучили, а учителя жалели, двоек ему не ставили.

Однажды на уроке географии Фритьофу Мошкину был задан вопрос о Западной Сибири. Он встал и забормотал, будто заело пластинку:

— Западная Сибирь, Западная Сибирь, Западная Сибирь, Западная Сибирь...

Как ни старался географ сдвинуть пластинку с заезженной колеи, Фритьоф стоял на своем и не стронулся с места. Он был парнишка упорный. Географ ему ничего не поставил в журнал.

Тамара Петровна спросила Мошкина о Филиппе II. Фритьоф Мошкин не знал, что сказать о Филиппе II, короле испанском, и завел свою волынку:

— Филипп Второй, Филипп Второй, Филипп Второй, Филипп Второй...

Румянец заревом вспыхнул на скулах заслуженной учительницы. В косноязычии Мошкина она уловила нарочитость — обман. Обмана она не терпела.

— Садитесь, Мошкин, — с печалью и укором сказала Тамара Петровна. — Вы не выучили урока. Я ставлю вам «два».

Однажды я видел Тамару Петровну (весь наш класс видел) в крайней степени негодования. Румянец от скул поднялся к вискам, к корням волос. Лицо Тамары Петровны, будто слиток тугоплавкого вольфрама, исполнилось накала, свечения...

В нашем классе учился Валька Швец, генеральский сынок. Он, в общем, был добрый малый, но чем-то выделялся в общей среде. Его кожа имела какой-то редкий в то время цвет: кровь с молоком, с изрядной добавкой не сходящего всю зиму южного загара. Он приходил в школу в начищенных ботинках, в синем бостоновом костюме. Учился сносно, но без интереса. К учителям и наукам Швец относился чуть свысока, словно знал еще что-то, чего не знали учителя, что не было написано в учебниках.

Как-то на уроке истории, скучая, Швец выковыривал красивым ножиком пробки из парты, заделанные в дырки от сучков. Тамара Петровна усекла в свое классическое — из времен бестужевских курсов — пенсне это черное Валькино дело. Урок прервала, подошла ближе к Швецу. Он поднял на нее свои невинные, длинными ресницами опущенные глаза, ни капельки не смутился.

— Встаньте, Швец! — приказала Тамара Петровна. — Стойте прямо перед учителем! Вы отдаете себе отчет в том, что делаете? Вы, юноша, ничего в своей жизни не совершивший полезного для людей, посягаете на самое святое — на плод человеческого труда. Эту парту для вас же сделали люди, мастера, а вы плюете им в душу. В такое время, когда вся наша страна, все советские люди, в невероятно трудных условиях заняты созидательным трудом... Чтобы дать вам возможность учиться... Стать человеком... Я не могу продолжать урок...

Тамара Петровна, распространяя вокруг себя электрические разряды, выкатилась из класса и вскоре привела завуча. Завуч к происшествию отнесся спокойно.

— А вот мы вызовем его папашу, — сказал завуч, будто извиняясь перед Валькой, — и пусть-ка он нам достанет новые парты.

Инцидент тем и кончился. Урок истории продолжался.

Вообще уроки истории в нашей школе проходили под высоким напряжением.

Спасибо вам за это, Тамара Петровна!



Еще была пионервожатая Соня. Она ходила, по моде тех лет, в короткой юбчонке, в сером берете — на левую бровь (красные береты носили продавщицы булочных, вагоновожатые трамваев и проводницы поездов дальнего следования). Пионервожатая Соня будила наше обреченное на долгую спячку (школа-то мужская) воображение. Но к Соне вскоре пришвартовался физрук Шленский. Кроме всех, уже упомянутых мною его достоинств: грудь колесом, сросшиеся на переносице брови и пр. — он был из моряков, ворот рубахи застегивал так, чтобы каждый мог видеть его полосатую тельняшку. Соня сразу попала в поле его зрения. Мы только хихикали, прыскали в кулачки, перемигивались.

Мы-то что... Мы были тогда мелюзгой, сопливыми салажатами... Но и десятиклассники, даже те из них, кто побывал на фронте, не тянули рядом со Шленским. Он обладал правом сильнейшего в стае. Он был физруком.

Еще в седьмом классе со мною учились двое фронтовиков: Толя Резо прошел войну сыном полка, Володя Капелюхин партизанил в Псковской области. Закончив семилетку, сын полка пошел в артиллерийскую спецшколу, партизан — на курсы матросов.

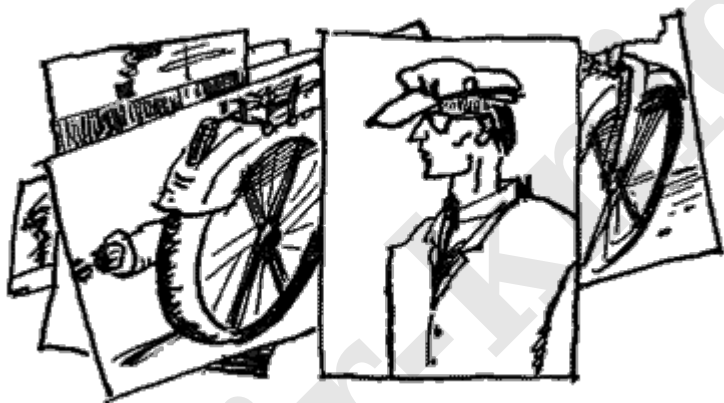
Наши учителя в ту пору еще не носили армейскую форму. Одни ее и донашивали, другие надели пропахшие за войну нафталином штатские костюмы из всеми забытого мирного времени. Если бы наших учителей выстроить по ранжиру, то на правом фланге встал бы Павел Иванович, физик. На две головы выше других, он имел странную для наших ушей, рыкающую фамилию: Рерберг. Он приезжал на уроки откуда-то из пригорода на самодельном полумотоцикле-полувелосипеде (слова «мопед» тогда еще мы не знали). Бензиновый бак на его самоходе-монстре был склепан из жестяных банок из-под американской колбасы «Ланчен мит». (Поскольку мы не знали правил чтения английских слов, то читали, как написано: «Лунхеон меат».)

На Павле Ивановиче всегда был один и тот же черный, суконный, до блеска вытершийся костюм-тройка, коротенький пиджачок, жилетка, брюки, заправленные в немецкие солдатские сапоги с короткими широкими голенищами-раструбами. Сидя в седле своего доморощенного «росинанта», окутанного клубами дыма, стреляющего и лязгающего всеми сочленениями, он имел на голове суконную же черную кепку с длинным козырьком, а на плечах прорезиненную, с чужого плеча хламиду, носившую в прежние времена название «макинтош». Прибытие Павла Ивановича к подъезду школы всегда вызывало наш интерес. Учителя физики мы встречали с почтительным любопытством.

Павел Иванович обладал громовым голосом и очень малым словарным запасом. Каждый урок начинался одной и той же фразой: «Садись по местам!» Это относилось ко всему классу. Но и к каждому из нас поодиночке он обращался так же, во множественном числе. Вызовет кого-нибудь к доске, послушает несомую вызванным ахиною и грохнет: «Садись по местам! Кол поставлю!» Еще его любимым словечком было: «Сипуха!» То есть чепуха. Ты ему что-нибудь лепечешь, он слушает — и отрежет: «Сипуха!» Так мы и звали его за глаза: Сипуха.

Кого любил Павел Иванович, так это смысленых, умеющих что-нибудь мастерить пареньков. С ними он оставался после уроков в физическом кабинете-закутке. Что-то они к чему-то подключали, приваривали, паяли, лудили. К другим, не умеющим подключать и лудить, он постоянно испытывал чувство глухого недоумения: для чего же они живут?

Наш физик человек был, должно быть, не злой: раздаваемые щедро колы к концу четверти складывал в тройки. Он представлял собою, так сказать, раритет — явление, единственное в своем роде, не повторяющееся в педагогической практике. Собственно, и педагогическая практика в нашей школе только-только нащупывала себя. Школа в блокаду не работала, все накопленное когда-то растеряла. На судно, не плававшее долгое время, явился новый экипаж. Наши педагоги еще не притерлись друг к другу, не было «общего уровня», стиля; каждый вел свой предмет, как умел.



Географ Константин Валентинович Черенков, круглолицый, предрасположенный к полноте, сощуривший в щелочки свои и без того узкие, с татарщиной глаза, вкусно, с причмоком говорящий, к тому же еще и заикался, тоже на собственный лад. Если слово начиналось с гласного звука — Америка, Амазонка, — он произносил его на выдохе, хакал. Получалось: Хамерика, Хамазонка. Ему очень нравились эти слова, он как будто прочищал на них горло: «Ха-ха-хамерика, Ха-ха-хамазонка». И еще ему нравилось выговаривать название протекающей на границе США с Мексикой реки: Рио-Гранде-дель-Норте. У нас его принято произносить (и в Америке, и в Мексике, кажется, тоже) через «э» обратное: Рио-Грандэ-дэль-Нортэ. Константин Валентинович обзывал эту реку на русский манер, как какую-нибудь Щеберёху, — Рио-Гранде-дель-Норте.

Еще он вел астрономию. У него она была хастрономией. У нас — гастрономией.

Каждый день в нашей школе начинался с физзарядки. Ее проводил физрук Шленский, а в те дни, когда физкультуры по расписанию не было, на зарядку нас выводил военрук Хвалевиц, белорус. В отличие от географа Черенкова звук «е» он утолщал до «э» обратного, «и» до «ы», «я» до «а». Приглашая на физзарядку, Хвалевиц доставал из брючного кармашка на животе

серебряные часы со шелкающей крышкой и толстым голосом изрекал: «Врэмья пора на зарадку».

Мы любили играть «в Хвалевича». Бывало,ходишь в класс, погладишь себя по выпученному животу и: «Врэмья пора на зарадку». Всем смешно.

И еще одна фраза из лексикона военрука веселила наши сердца. Хвалевич ее обронил на уроке военного дела, вводя нас в дебри тактического искусства: «Орээнтыр — бэрозовое дэрэво». Он обронил, а мы подхватили, запомнили. Мы всё запоминали. Увеселяли себя, как умели: передач по телевизору «Вокруг смеха» тогда не было. И телевизора не было.

Как-то раз мы разыграли в классе маленький скетч, то есть приготовили пакость для Хвалевича. Я был автором и исполнителем скетча-пакости. Принес из дому барометр-анероид, круглый, массивный, деревянный. Засунул его за ремень моих штанов. Весь класс затаился, притих (это было уже в восьмом классе), дожидался прихода Хвалевича. Тот вошел, как всегда, без четверти девять, достал свое серебряное сокровище, щелкнул крышкой и произнес сакраментальную фразу: «Врэмья пора на зарадку». Я вышел из-за парты, встал против военрука, вытянул из-за ремня гигант анероид, поднял его к глазам, чтобы всем было видно, и выдал то, чего ждал от меня класс: «Врэмья еще нэ пора на зарадку».

Об этом дерзком поступке ученика Гонцова (то есть меня) доложено было по-военному четко: классному руководителю — завучу — директору. Я был взят на заметку, и стоило мне погореть — на этот раз с папиросой в уборной, — как наш классный руководитель, Константин Валентинович Черенков, пообещал мне, сладострастно щуря глаза и радостно заикаясь:

— Мы тебя хих-хи-хисключаем из школы.

На утренней линейке, перед общим строем, директор школы Владимир Сергеевич Высоких подвел черту под первой фазой моей сознательной жизни:

— Исключаю!

О! Владимир Сергеевич умел подводить черту своим указующим перстом. Он был директор суровый и справедливый. Он нас воспитывал — в нашей мужской обители — по-мужски, сызмальства, приучал нести ответственность за проступок, без соплей, без слюней.

Кому-нибудь из вас, мой читатель, приходилось быть исключенным из школы в ваши пятнадцать лет? Звонок прозвенел, вся ребятня разошлась по классам, школа притихла... А ты... Эх, да что говорить...

Медленно загребая ногами, хлопая ушами, считая ворон, ощущая в себе полную невесомость, я плелся куда-то. Куда? Домой? Дома надо признаваться маме. До мамы еще далеко, целый день. До папы еще дальше, папа приходил поздно (в те годы работа в учреждениях длилась чуть не до полночи). А пока...

Идти по улице, будучи исключенным из школы, — это совсем другое дело, чем бежать в школу или чапать после уроков домой. Вам доводилось, конечно, встретиться взглядом с потерявшим хозяев в городской сутолоке несчастным домашним псом... Пятнадцатилетний домашний подросток все равно что подпесок, уже повадливый — и ломкий, незащищенный, такой несмышленный. Он как ненаполненный сосуд, незасеянное поле, чистый лист бумаги, незаселенный дом, ком глины в руках ваятеля. Чем наполнят, что посеют, что напишут, что изваяют?

В послевоенные годы в нашем городе много было бродячих псов. Это порода особенная; они-то знали все ходы и выходы, ничуть не терялись в толпе, в обиду себя не давали. Домашних псов мало кто держал в послевоенные годы, разве что охотничьих, добычливых.

Сам город тогда был другой, чем теперь. И машины на улицах иных марок (можно сказать: «иномарок»): «хорхи», «мерседесы», БМВ, «опель-кадеты», «капитаны», изредка «адмиралы», «виллисы», «доджи», «форды», «татры», «испано-суизы» — бог знает, каких только не было. Ну, и наши, конечно: ЗИС-5, полуторки ГАЗ-АА, эмки. Потом появились «Победы», ЗИМы, «Москвичи» — на них глазели, как говорится, «с законной гордостью»: мы тоже можем.

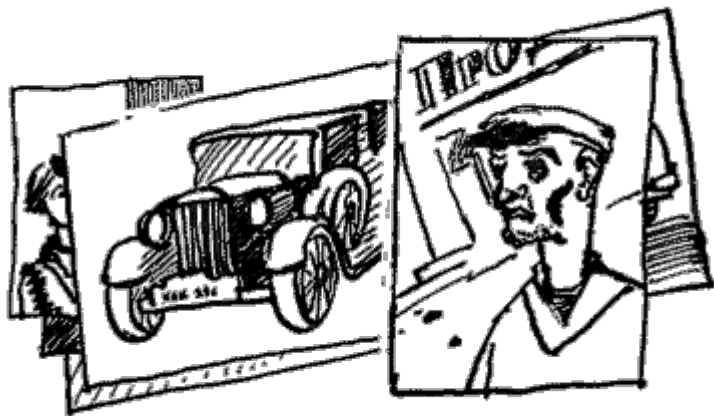
На углу у входа в нашу школу открылась стоянка такси. Очередей на такси тогда не было; канареечно-желтенькие, коротконогие, как божьи коровки, с двухтактными двигателями-трещотками, с шашечными клетками на поясе, в затылок друг дружке подолгу стояли тут ДКВ.

Сдав последний экзамен на аттестат зрелости, самую каверзную для меня химию, я сяду в такси и поеду. Шофер меня спросит: «Куда поедем?» Я скажу ему адрес, и он улыбнется: от школы до моего дома всего три квартала. Но что-то надо ведь сделать, расставшись со школой, вступая в новую жизнь. Дотуда ой как еще далеко с плачевного для меня сентябрьского утра...

Исключенный из школы, я постоял на углу, поглазел на «экавушки», в какой-то бессмысленной задумчивости перешел на ту сторону проспекта (хорошо, что машины ходили редко). У входа в магазин торговал папиросами «Красная звезда» слепец со страшно синеющими, багровеющими пустыми глазницами. В одной руке слепец держал раскрытую пачку, в другой кепку. Папиросину всякий брал сам и клал в кепку рубль. Случалось, я тоже брал и клал. Слепец оставался безучастным. Иногда к нему приходила жена, чем-то его кормила. Всякий раз я замешкивался подле торговца папиросами, с каким-то непонятным мне острым интересом вглядывался в его лицо. Что-то надо мне было запомнить — один из ликов войны. И сам я, и все мои сверстники были дети войны; долго-долго нам еще предстояло вглядываться — запоминать.

На короткой прямой улице, по которой я бегал в школу, чуть-чуть изогнутой около устья (или истока), исправно работали три пивнушки. Их называли шалманами. Двери шалманов бывали раскрыты целые дни. За дверями рыдали баяны: «Темная ночь, только пули свистят по степи...», «На позицию девушка провожала бойца...», «На поленьях смола, как слеза...», «Прощай, любимый город...», «Бродяга Байкал переехал...», «Там, в степи глухой, замерзал ямщик...». В шалманы валили валом безногие — на тележках, на костылях, безрукие, слепые и одноглазые гимнастерочники со следами погон на плечах, с красными, желтыми нашивками за ранения. И долго-долго еще предстояло рыдать баянам и «пулям свистеть по степи...».

В том месте, где прямая улица изгибалась в излучину, я свернул направо, дошел до сквера. Вот уж где было на что поглядеть! Сюда были свезены из-под Пулкова, Гатчины, Мги, Невской Дубровки всякого рода чудища войны: «тигры», «фердинанды», «фокке-вульфы», «юнкерсы», «мессершмитты». Свезенную в сквер фашистскую технику покурочило нашей силой. Война закончилась нашей победой.



Я нагляделся всласть, пришел домой почему-то успокоившийся. Рассказал о моей невзгоде бабушке. Бабушка погладила меня по головке:

— Ничего, Васенька, родненький. Вон ты у нас какой большой да разумный. Чего натворил, не со зла. Поживешь, сам поймешь. На ошибках учатся. Кто ни разу носу не расшибет, тот беспроким и вырастет. Ты у нас добрый мальчик. Перемелется — мука будет. Твои родители тебя в обиду не дадут, небось обойдется...

Тут кто-то позвонил к нам в дверь. Без спросу в ту пору не отпирали дверей. Я спросил:

— Кто там?

Услышал знакомое:

— Ганс.

Это к нам опять пришел пленный Ганс. Он восстанавливал дом по соседству. Бабушка заказала Гансу принести песочку для нашей кошки Тырсы, Ганс и принес. Он и ящик сколотил для песка, во весь рот улыбался:

— Пейзок...

Был накормлен бабушкой щами и расспрошен:

— Ты что же, Ганс, воевать-то на нас посягнул? У тебя тоже небось детки?

Ганс улыбался:

— Я, я, детки... Гитлер капут.

— Пока твой Гитлер скапутился, сколько зла натворил, — ворчала бабушка. — Да ты ешь, ешь. У нас что в печи, то и на стол мечи.

Ганс ел и улыбался.

Так и вышло, как предсказала бабушка. Мама с папой ходили в школу. Переговоры у них с Владимиром Сергеевичем Высоких едва ли прошли «в обстановке единодушия» (мне-то — как с гуся вода). Мой папа тогда работал в лесной промышленности. Школа нуждалась в лесе, как и

весь наш город, — и получила то, в чем нуждалась. Меня водворили на прежнее место.

Стал ли я серьезнее, ответственнее после такого прокола в моей «учетной карточке»? Едва ли. Так, отделался легким испугом.

Свое умственное, нравственное и гражданское повзросление, как я теперь понимаю, мне следует, главным образом, отнести за счет уроков литературы и русского языка, то есть сказать спасибо учителю Борису Борисовичу Стаху. Он и сейчас еще жив (когда я пишу эти строки). Я иногда бываю у него, в обыкновенной квартире, в пятиэтажном доме постройки шестидесятих годов. И слова мы с ним говорим друг другу обыкновенные, хотя ему-то и суждено было стать моим Главным Учителем.

Вообще-то грамоте я был изрядно научен дома. Как я помню себя, вместе с нами жила мамина сестра, моя тетушка. Она преподавала в школе литературу и русский язык, была инспектором и даже завроно. Тетушка терпеть не могла помарок в родном языке, пусть даже в домашних беседах и детских шалостях. Меня одергивали, если я говорил вместо «нет» — «нету», отчитывали за «евонный» и «ихний» вместо «его» и «их». Я рано узнал, что нельзя употреблять в одном предложении два подлежащих: «Лев — он царь зверей» — так нельзя, против правил, неблагозвучно. Надо: «Лев — царь зверей». Нельзя сказать: «Очень неплохо», надо сказать: «Хорошо». И многое другое.

Но почему-то литература в школе шла у меня ни шатко ни валко до девятого класса, до прихода к нам Бориса Борисовича Стаха. Письменные задания по литературе, сочинения-изложения я обычно перекатывал (переставляя слова) из учебника, поскольку мне казалось, что там, в учебнике, написано толковее, нежели я начну городить от себя. За сочинения-изложения чаще всего мне ставилась тройка — за грамотность при полной несамостоятельности.

Борис Борисович Стах вошел к нам в класс в офицерском габардиновом кителе, с двумя рядами орденских планок, заговорил с нами как со взрослыми людьми о чем-то таком, никогда нами не слыханном. Новый учитель литературы, я хорошо это помню, появился в конце учебного года. На дворе стояла весна. Во всех трех шалманах на нашей улице играла музыка про войну. На первом своем уроке новый учитель заговорил о войне. И о весне. Он принес с собою только что вышедший роман Олеся Гончара «Злата Прага», прочел нам сколько-то страниц. У него был глуховатый, грудной голос и какое-то особенное лицо, непохожее на лица других наших наставников: выбритые до синевы впалые щеки, не выпирающий, но заметный подбородок, с лощиной посредине, глаза серые, пронизательные, малость печальные и незлые; надо всем лицом, составляя главную его часть, простирался высокий лоб. У нового учителя литературы, мы сразу заметили это, было умное лицо.

Учитель прочел нам отрывок из романа Олеся Гончара, положил книгу на стол, принялся расхаживать перед нами, ладно скроенный, крепко сшитый, совершенно от нас, от нашего разгильдяйства и шалопайства, не зависящий, сам по себе, и стал нам рассказывать про весну в Праге, про войну, которую он пронес на своих плечах, запечатлел в своей душе. Рассказчик был серьезен, чувств своих не выдавал ни голосом, ни улыбкой. Речь его была абсолютно, «петербургски» правильна — мы такой и не слыхивали. Борис Борисович говорил о счастье быть освободителем и о счастье быть освобожденным. Как одно счастье находит другое, как они соединяются — и тогда наступает весна, не просто время года, а весна человечества. Еще вчера раскаленные боем танки сегодня увиты цветами сирени, тихо движутся, как ладьи по волнам всеобщего восторга, несут на броне нимб Победы...

Борис Борисович нам объяснял, что значит чувство Победы. Как может книга запечатлеть в

себе миг ликующего единства многих тысяч людей. Он говорил об этом простыми словами. Правду того, что он нам говорил, удостоверяли два ряда орденских планок. Мы их умели читать: правым крайним был орден боевого Красного Знамени.

Потом я прочел «Злату Прагу» — книгу, не заданную по литературе. Я прочел ее для себя. К той поре я прочел «для себя» и «Пышку» Мопассана, и «Яму» Куприна. (В нашей мужской школе их все прочли.) Я вообще был начитанный мальчик. Не скажу, чтобы меня потряс роман Гончара. Но впервые в жизни я читал не о чем-то таком, чего никогда не бывало и не будет со мной; я находил в книжных словах нечто такое, чем жил сам: войну и весну. Слова становились живыми. Запах сирени в Праге в майские дни Победы был тот же самый, что нынче у нас, на Марсовом поле. Учитель литературы помог мне прочесть эту книгу, проникнуть в жизнь слов, пережить написанное в книге, как собственное, мое...

Спасибо учителю словесности!

Потом Борис Борисович Стах создаст в нашей школе — для старшеклассников — кружок любителей литературы. Уроки уроками, но литературу стоит еще полюбить. Да, полюбить! Меня назначат секретарем кружка, доверят ведение протоколов заседаний. Я еще не любитель литературы, но какие-то проблески замечены во мне учителем. Ну что же, я буду писать протокол, с каким-то непонятным мне трепетом, с несвойственным мне усердием занесу на бумагу — своими словами (это важно — своими!) — высказываемые кем-то суждения, мысли, буду оспаривать эти мысли и что-то домысливать от себя. Протокол заседания — тоже литературный жанр, он отмечен знаком личности протоколиста, ежели таковая личность проклюнулась в нем. К устной полемике с кем-либо я еще не готов, я еще мальчик, подросток, но я пишу протокол. Записывать только чужие мысли мне скучно. Мне хочется написать свои мысли. А как интересно к тому же сделать словесный набросок-портрет того или другого члена кружка, любителя литературы, вдруг загореться его искренностью или поймать на фальши. Итак, я учусь писать, складывать одно слово к другому таким образом, чтобы подспудное мое «я», угнетенное, заторможенное отроческой робостью, наконец нашло выход себе — в словах.

Учитель литературы и русского языка учил меня читать книги, и еще он учил меня писать, мало-помалу вводил в магический мир слов, где ни одно слово не произносится, то есть не наносится на бумагу, просто так, без смысла, без толку. Написанные твоею рукою слова могут вдруг пригодиться тебе, как дружки-товарищи, как добрая твоя бабушка, как не найденная еще тобой, но уже очень желанная подружка, как учитель, как табель успеваемости, где выставлены оценки по всем дисциплинам. И — слово за слово — я начал писать мой дневник: вначале прожить день, как проживается, потом взять в руки перо, раскрыть тетрадку — и взвесить прожитой день, разобраться в себе: кто же ты есть-то на самом деле, какая тебе цена? И жестоко (но не больно) себя осудить. Заслужил, так и похвалить, обязательно пожалеть. И что-то вдруг прорвется в тебе, как вскрытый фурункул, облегчающее тепло разольется по жилочкам. Чем больше напишешь в тетрадке, тем больше устанешь.

В отрочестве, да и в каждом возрасте, больше всего человека томит ненатруженность, неусталость. От нее и происходят моральные вывихи, звериные прыжки — от праздности мышц, от простоя мыслительного аппарата.

Придет время, и учитель словесности Борис Борисович Стах, человек с умным лицом, со лбом мыслителя, с боевыми орденами на кителе цвета хаки (вскоре он сменит китель на штатский костюм и ордена тоже снимет), однажды мне скажет, сохраняя на лице всегда присущее ему выражение крайней серьезности этого момента, как и всякого другого момента переживаемой нами жизни:

— Вы написали действительно замечательную вещь, талантливую вещь...

Впервые заслуженная похвала от высокочтимого мною учителя прольется елеем мне на душу. Все мое существо переполнится чем-то дурманящим, сладостным, духоподъемным, словно газом гелием: еще немножко — и улечу.

Это я написал сочинение на заданную учителем свободную тему: «За что я люблю мой город». Прежде чем написать, долго думал, за что я его люблю. То есть вначале спросил у себя: «Что такое любовь?» Наш город — всеми любимый, это общеизвестно. Но есть ли в общеизвестной любви-любования не что такое мое? Где кончается общая и начинается моя — единственная — любовь к моему городу? Я ходил по истоптанным до меня миллионами ног набережным, мостам, проспектам, переулкам, следил за собой: в каком месте вдруг вздрогнет душа? Почему? Набережные, мосты, проспекты и переулки сами по себе, конечно, были хороши, но никакого вздрагивания в душе не происходило до тех пор, пока не включилась память...

...Вот здесь я шел когда-то, во мраке затемненного, забывшего об уличном свете города, и вдруг... Вдруг загорелись лампочки на столбах. Их свет был робкий, прищуренный, просыпающийся. Но душа моя затрепыхалась. Такой спазм восторга переживают жители Севера, встретив после долгой полярной ночи первый солнечный луч. Пятнадцатого октября 1944 года в нашем городе сняли затемнение. Вот отсюда, с этого места, я вдруг увидел желтеющие липы на бульваре, гранитный парапет над беспокойной черной водой, лица домов, измученные войной, — и просветлевшие шпили и купола, далеко на все стороны разбегающиеся приветные огоньки ожившего города. И запомнил. Это осталось со мною. Это — мое.

...Вот здесь, на этом проспекте, стесненный в толпе, у которой, казалось, одно на всех жарко бьющееся сердце, я видел, как шли через город наши войска весной 1945 года; безмерно счастливые, усталые, загорелые, пропыленные лица солдат, отрочески ясноглазые улыбки лейтенантов — и цветы, цветы, цветы, букеты сирени на головы, на плечи наших спасителей.

...На этой площади я праздновал праздник Победы, вбирал в себя гром салюта, всполохи ракет, коловращение тысяч людей, соединенных одним восторгом. И каменный столп посередине площади, поставленный в честь другой победы, но все равно — Победы... Какой-то — сам по себе и вместе со всеми — гражданин кидает изо всех сил кверху шапку, выкрикивает, что есть мочи одну-единственную фразу, вместившую в себя все: «Да здравствует наша Советская Революция!»

Я находил в себе любовь и подбирал к любви, как подбирают по слуху музыку, ее выражающие слова.

Учитель словесности похвалил мое сочинение «За что я люблю мой город». Похвалу я запомнил, она подводила под чем-то черту, с нее начиналось что-то другое.

Спасибо учителю словесности!

На выпускном экзамене я получил пятерку за сочинение. Малость поплавал по физике и химии, но все-таки удостоился серебряной медали. То был первый год, когда отличников стали награждать медалями. Медали имели вес. Закоренелый, стопроцентный отличник нашего класса Меховщиков получил золотую, а я серебряную. С серебряной медалью меня приняли без экзаменов в университет.

До этого было еще далеко, если считать оттуда, от первых моих опытов любви к литературе. И еще дальше, если считать обратным счетом, отсюда, от стола, за которым я пишу этот мой

рассказ.

На выпускном вечере мы, юнцы с пробивающимися усиками (некоторые из нас прицепили к пиджакам военные медали), сели к одному столу с нашими учителями и выпили по первой, по второй. После третьего госта Владимир Сергеевич Высоких скомандовал:

— Народ, разрешаю курить.

«Народ» полез в карманы, почти у каждого там что-нибудь да нашлось. Некоторые защелкали модными в ту пору портсигарами. «Народ» окутался дымом. Члены родительского комитета заквохтали: «Как это можно, они же еще мальчишки, это антипедагогично...» Но «народ» уже что-то свое говорил, не слушался старших, у «народа» прорезался голос.

Потом были танцы. Девушки из соседней женской школы, отпраздновав свой выпуск по-девически скромно, пришли к нам в гости. Аккордеонист играл танго «Счастье мое», «Брызги шампанского», фокстрот «Розамунда». Я танцевал с математичкой Калерией Викторовной, готов был ее полюбить, сожалел, что не полюбил ее раньше. Пионервожатую Соню я тоже полюбил: танцую с ней танго, видел краешком глаза стоящего на руках физрука Шленского. Он, кажется, даже ходил на руках.

Кто-то пел, кто-то отбивал чечетку. У всех все получалось в тот вечер. Выпускников мужской средней школы переполняла энергия освобождения. Сегодня мы стали на крыло. Летим... Мы целовались с учителями, изливали им свои души. И девушкам — тоже... Мы ни капельки не робели перед девушками.

Поздно вечером я шел по набережной с двумя самыми красивыми девушками из соседней женской школы. Я любил их обеих с одинаковой силой, соизмеримой разве что с силою распивавшего меня счастья. На дворе была весна. Уже четыре года как кончилась война. Я закончил мужскую среднюю школу с серебряной медалью. Мне хотелось стать на руки и пойти вверх ногами, как ходил на вечере физрук Шленский. Но этого я не умел, не научился на уроках физкультуры. Любовь к литературе оказалась сильнее любви к физкультуре.

Я порывался прыгнуть в ледяные, черные воды Невы в новом моем костюме, сшитом к выпускному вечеру в ателье. Я бы прыгнул, но девушки не пускали меня, говорили, что плавать не стоит, и так хорошо. Я нужен им был непромокший, неутонувший. И я подчинился их женственной воле и логике. Я их любил.

Но надо, надо было что-нибудь сделать. Так, даром любовь не дается. И вот... Навстречу нам двигалась во всю ширину набережной компания подгулявших парней. Девушки не пришли к ним на выпускной вечер. Парни подметали клешами мостовую, не разрядившиеся, не смягченные. Они были старше нас, может, кончили техникум или школу рабочей молодежи. Парни что-то сказали моим девушкам, как-то их задели. Глаза мои застил туман. Я вдруг почувствовал необычайную легкость, будто прыгнул с десятиметровой вышки, — я кинулся на парней...

Парни побили меня с чувством, с толком, с расстановкой. Их было более десяти. Не знаю, каждый ли из них сумел приложить руку к моему просветленному в этот вечер лицу. Возможно, они помешали друг другу, а то бы...

Драка получилась быстротечной. Били меня без злобы, так, для разгона крови. А я и подавно. После короткой драки мы пожимали друг другу руки, побившие меня парни, помню, мне говорили:

— Хорошо подрались. Спасибо.

Мои добрые феи по гранитным ступеням свели меня к самой воде, достали батистовые платочки, обмакнули их в невскую воду, омыли мое лицо. Мой нос был расквашен, кровоточили губы и десны. Вода была холодна и пахла мазутом. Заботу и ласку моих любимых девушек я принял как должное, я их заслужил. Касания девичьих перстов, сострадание во взорах целительнее любых примочек и промываний.

Тех, самых красивых девушек из соседней женской школы я больше ни разу не встретил. Любовь к ним постепенно прошла. Но способность влюбляться сразу в двух и более девушек сохранилась во мне на всю жизнь, доставила бездну терзаний — и мне и девушкам.

Наутро моя бабушка, замывая кровь на новехоньком пиджаке, ворчала:

— Эк тебя угораздило. Да как они смели избить-то тебя, сердешного. Ты у нас смиренный да робливый, никого и пальцем не тронешь. А они, экие звери, в кровь мальчика извозили. Оно тебе и наука, Васенька, родненький, другой раз неповадно будет ночами бог знает где шляться да в рюмочку глядеть. За битого двух небитых дают.

Оно конечно, дают. Но бабушка резала по живому. Так не хотелось быть смиренным, робливым. Хотелось быть дерзким, храбрым и сильным.

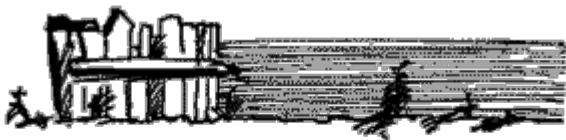
Потом я научился наносить удары, причинять боль другим, побеждать. И — маяться этой болью других. Быть битым худо, но много хуже извозить в кровь того, кто слабее тебя...



Валентин Распутин

Уроки французского

Анастасии Прокопьевне Копыловой



Уроки французского



Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что случилось с нами после.

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.

Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, — тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождалась или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь еще пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой

библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки — под весну это было немалое богатство.

И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

— Башковитый у тебя парень растет. Ты это... давай учи его. Грамота зря не пропадет.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал, как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? Затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки.



С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями.

Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормозили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь — приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! — хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее, — я ничего не понимал. Тогда она решила и остановила машину.

— Собирайся, — потребовала она, когда я подошел. — Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут — кажется много,хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тетьа Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из ее старших девчонок, или младший, Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвырвав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

* * *

Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:

— Ты в «чику» играть не боишься?

— В какую «чику»? — не понял я.

— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем.

— Нету.

— И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого еще зачем привел? — недовольно сказал он Федьке.

— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живет.

— Играть будешь? — спросил меня Вадик.

— Денег нету.

— Гляди, не вякни кому, что мы здесь.

— Вот еще! — обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все — то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метра в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее, — тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били всё той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. Но важнее всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся — шайба выскользнула из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо по пятерке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек, не разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно было купить пять пол-литровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй — шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наконец наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогоды слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей полянке, пожелтевшая и сморенная, все же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибежал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает — все равно тянет. Вызовут — молчит.

— Что ж ты руку поднимал? — спрашивают Тишкина.

Он шлепал своими глазенками:

— Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное — от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один — потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш тройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя — так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.



Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убежал,

покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учитеесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

— Ты что это — загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.

— Мне уроки надо, Вадик, делать, — стал отговариваться я.

— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

— Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы — если не окажется орла — собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

— Не в склад! — объявил Вадик.

Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, — иначе он не стал бы ее закрывать.

— Ты перевернул ее, — сказал я. — Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

— А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно: если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведет, — решил я. —

Все равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:

— Чего-о ты?!

— Кто тебе сказал, что это я? — отперся он. — Приснилось, что ли?

— Давай сюда! — Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

— Давай сюда! — потребовал Вадик.

— Ты перевернул ту монетку! — крикнул я ему. — Я видел, что перевернул. Видел.

— Ну-ка, повтори, — надвигаясь на меня, попросил он.

— Ты перевернул ее, — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивал одно и то же:

— Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

— Иди отсюда, пока живой! — скомандовал Вадик. — Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыряя омертвевшим носом, поплелся в гору.

— Только вякни кому — уьем! — пообещал мне вслед Вадик.

Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И, только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи — так что слышал, наверное, весь поселок:

— Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся, — видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

* * *

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

— Ну вот, — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. — Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

— И что случилось? — спросила она.

— Упал, — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

— Хи, упал! — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. — Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что — совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги нас в два счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внес ясность — нечего сказать.

— Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, — не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. — Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: — После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил, — разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается

самостоятельно чуть поперед директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь». Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» — «Что меня побудило?» — «Вот именно: что побудило? Слушаем тебя».

Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжегшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело — если бы я сам бросил школу... Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала она.

Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запыраться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

— Правда.

— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь?

Я замялся, не зная, что лучше.

— Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?

— Вы... выигрываю.

— Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, и потому звучал он вволюшку, а у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе — она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык: конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти.

— Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

— И больше не играешь?

— Нет.

— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

— Покупаю молоко.

— Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несурзости прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки, в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувь. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

— И все-таки на деньги играть не надо, — задумчиво сказала Лидия Михайловна. — Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал:

— Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навыпуск рубаше с короткими рукавами, Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

— Чего пришел? Давно не били?

— Играть пришел, — как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.

— Кто тебе сказал, что с тобой, — Птаха выругался, — будут тут играть?

— Никто.

— Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?

— Чего ты пристал к человеку, Птаха? — щурясь на меня, сказал Вадик. — Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

— У вас нет по десять рублей, — только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

— У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

— Дать ему, Вадик?

— Не надо, пусть играет. — Вадик подмигнул ребятам. — Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся.

Теперь я был ученый и понимал, что это такое — доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле: копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но, как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

— Хватит, ой, хватит! — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. — Да что же это такое?! Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

* * *

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «веаисоир» (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристомом пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.

Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор.

Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился — меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумывала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дожидаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем — редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме, все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами, иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того, я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко стриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем: по голосу, по походке — мягкой, но уверенной, свободной, по всему ее поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким.

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходиться. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной, настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных.

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убежал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, — какой еще мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог — вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящик, в каких снаряжают посылки на почте. Я удивился: почему в ящике? Мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, написал уже здесь дядя Ваня — чтобы не перепутали для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Смотрите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не крошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее, и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не поущусь. Это

вам не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся. Макароны... Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я еще раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия — мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше никому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала:

— Что это? Что такое ты принес? Зачем?

— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом.

— Что я сделала? О чем ты?

— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

— Почему ты решил, что это я?

— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.

— Как! Совсем не бывает?! — Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.

— Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее.

— Действительно, надо было знать. Как же это я так?! — Она на минутку задумалась. — Но тут и догадаться трудно было — честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

— Горох бывает. Редька бывает.

— Горох... редька... А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. — Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. — Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми...

— Не возьму, — перебил я ее.

— Ну зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

— Я совсем не голодаю.

— Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сварить себе сегодня хороший обед. Почему я не могу тебе помочь — единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще: я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.

* * *

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.

— Хорошо, — подбадривала меня Лидия Михайловна. — В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей — обязательно.

О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмется еще придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло, так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна все время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью, — я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к ее квартире. Все еще, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетенность отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.

Она сделала еще попытку посадить меня за стол — напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой отмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую ляжку. Впрочем, ляжку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарь, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие: не получалось — получится, и получится — не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне... Я бы сам, сам...

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

— Ну а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?

— Как же сейчас играть?! — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

— А что это была за игра? В чем она заключается?

— Зачем вам? — насторожился я.

— Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

— Чего мне бояться?!

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.

— Нет. — Лидия Михайловна покачала головой. — Мы играли в «пристенок». Знаешь, что это такое?

— Нет.

— Вот смотри. — Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. — Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. — Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, — бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь, — значит, выиграл. Бей.

Я ударил — моя монета, попав на ребро, покатила в угол.

— О-о, — махнула рукой Лидия Михайловна. — Далекое. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, — я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

— Чего тут непонятного?

— Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

— Как же я с вами буду играть?

— А что такое?

— Вы же учительница!

— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя. — Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно. — Иной раз полезно забыть, что ты учительница, — не то такой сделаешься бякой и

букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное — не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому. — Она встряхнулась и сразу повеселела. — А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в «замеряшки».

— Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.

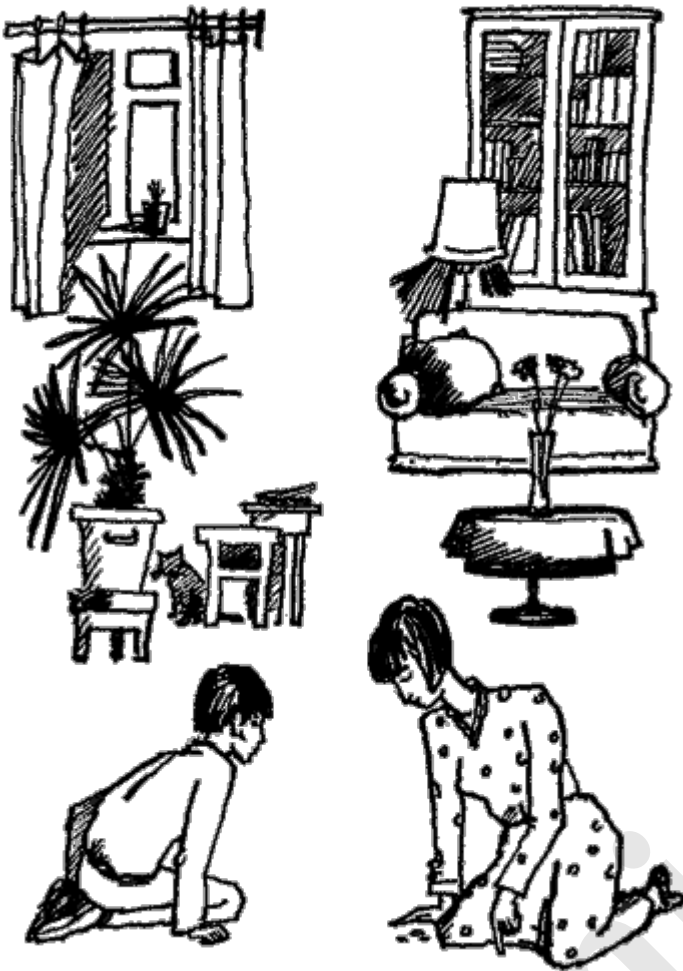
— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопреставление — не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

— Ну, что — попробуем? Не понравится — бросим.

— Давайте, — нерешительно согласился я.

— Начинай.



Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я еще не выяснил для себя, как бить монетой о стену — ребром ли, или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую: если бы мы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих «замеряшках» не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее.

— Нет, так неинтересно, — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. — Играть — так по-настоящему, а то что мы с тобой как трехлетние малыши.

— Но тогда это будет игра на деньги, — несмело напомнил я.

— Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а все равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.

— Неужели боишься? — подзадорила меня Лидия Михайловна.

— Вот еще! Ничего я не боюсь.

У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что — не я первый начал. Вадик по первости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.

Мне пришлось принять одно условие: поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.

Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимались на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня — одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой на нее прикрикнуть. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издала пошла своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя — не то позор, позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, — там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

— Нет, — заявил я, — так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.

— Но я действительно не могу их достать, — стала отказываться она. — У меня пальцы какие-то деревянные.

— Можете.

— Хорошо, хорошо, я буду стараться.

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство — от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, исподтишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она как ни в чем не бывало продолжала двигать монету.

— Что вы делаете? — возмутился я.

— Я? А что я делаю?

— Зачем вы ее подвинули?

— Да нет же, она тут и лежала, — самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи.

Вот это да! Учительница, называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да еще и

смеется надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать — двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы, не мешкая, переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех ее секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко — теперь уже в мороженных кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба.

Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказаться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормозила меня.

Знать бы нам, чем это все кончится...

...Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили.

— Пойми ты, голова садовая, — напolzая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, — зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

— «Чика» не считово.

— Почему это не считово?

— У вас тоже была «чика».

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать, пораженный, но твердый, звенящий голос:

— Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.

— Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала:

— Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.

— Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор.

— Играем в «пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна.

— Вы играете на деньги с этим?.. — Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. — Играете с учеником?! Я правильно вас понял?

— Правильно.

— Ну, знаете... — Директор задыхался, ему не хватало воздуха. — Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Раствление. Сокращение. И еще, еще... Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...

И он воздел над головой руки.

* * *

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.

— Поеду к себе на Кубань, — сказала она, прощаясь. — А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись. — Она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я ее никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, — аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашел три красных яблока.

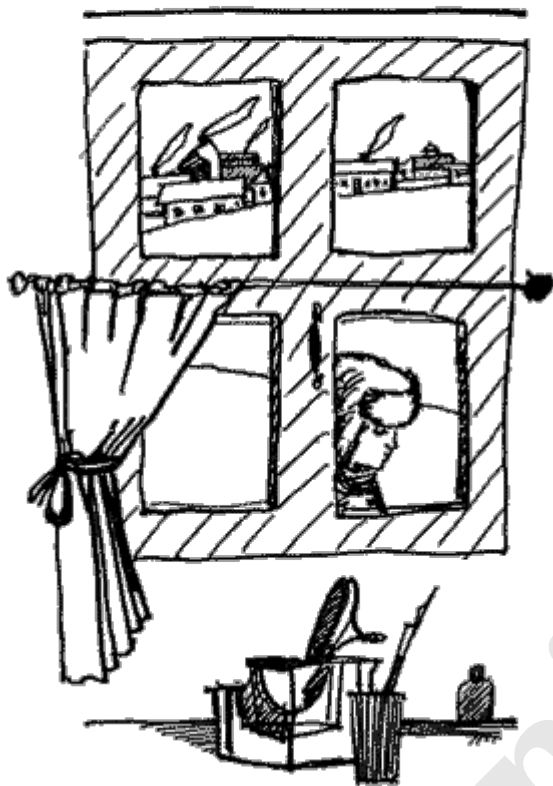
Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.



Виктор Астафьев

Фотография, на которой меня нет

Фотография, на которой меня нет



Глухой зимою, во времена тихие, сонные нашу школу взбудоражило неслыханно важное событие.

Из города на подводе приехал фотограф!

И не просто так приехал, по делу — приехал фотографировать. И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы.

Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны. Учитель и учительница — муж с женою — стали думать, где поместить фотографа на ночевку.

Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка-ревун. Бабушка моя, тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, три раза заговаривала пупок дитенку, но он все равно орал ночи напролет и, как утверждали сведущие люди, наревел пуп в луковицу величиной.

Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка, где висел пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спяну или просто так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона.

Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмешалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в куть и с напором,

правда, конфузливый, взялась его убеждать:

— Им тама нельзя. Ямщиков набьется полна изба. Пить начнут, луку, капусты да картошек напрутся и ночью себя некультурно вести станут. — Тетка Авдотья посчитала все эти доводы неубедительными и прибавила: — Вшей напустют...

— Что же делать?

— Я чичас! Я мигом! — Тетка Авдотья накинула полушалок и выкатилась на улицу.

Фотограф был пристроен на ночь у десятника сплавной конторы. Жил в нашем селе грамотный, деловой, всеми уважаемый человек Илья Иванович Чехов. Происходил он из ссыльных. Ссыльными были не то его дед, не то отец. Сам он давно женился на нашей деревенской молодежи, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаве, лесозаготовках и выжиге извести. Фотографу, конечно же, в доме Чехова — самое подходящее место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят, и книжку почитать из шкафа достанут.

Вздыхнул облегченно учитель. Ученики вздохнули. Село вздохнуло — все переживали. Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят как полагается, хорошо снимал.

Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу с Санькой пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние — в середине, плохие назад — так было порешено. Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир прилежанием и поведением, нам и на середину рассчитывать было трудно. Быть нам сзади, где и не разберешь, кто заснят? Ты или не ты? Мы полезли в драку, чтоб боем доказать, что мы — люди пропащие... Но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, а в погибель, поразбивали о камня головки санок, коленки поносили, вывалялись, начерпали полные катанки снегу.

Бабушка уж затемно сыскала нас с Санькой на увале, обоих настегала прутом.

Ночью наступила расплата за отчаянный разгул — у меня заболели ноги. Они всегда ныли от «рематизни», как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанки снегу — тотчас нудь в ногах переходила в невыносимую боль.

Я долго терпел, чтобы не завывать, очень долго. Раскидал одежонку, прижал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, к горячим кирпичам русской печи, потом растирал ладонями сухо, как лучина, хрустящие суставы, засовывал ноги в теплый рукав полушубка — ничего не помогало.

И я завыл. Сначала тихонько, по-щенячьи, затем и в полный голос.

— Так я и знала! Так я и знала! — проснулась и заворчала бабушка. — Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и в печенки, не говорила: «Не студи́ся, не студи́ся!» — повысила она голос. — Так он ведь умнее всех! Он бабушку послушат? Он добрым словам воньмет? Загибат теперь! Загибат, худа немочь! Мольчи лучше! Мольчи! — Бабушка поднялась с кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее умиротворяюще. — И меня загибат...

Она зажгла лампу, унесла ее с собой в куть и там зазвенела посудой, флакончиками, баночками, скляночками — ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему.

— Где ты тутока?

— Зде-е-е-ся, — по возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться.

— Зде-е-е-ся!.. — передразнила бабушка и, нашарив меня в темноте, перво-наперво дала затрещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала основательно, досуха, и все шумела: — Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? — И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала: — Эх его умучило! Эх его крюком скрючило? Посинел, будто на леде, а не на пече сидел...

Я уж ни гугу, не огрызался, не перечил бабушке — лечит она меня.

Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица щипучей от спирта ладонью.

— Спи, пташка малая, господь с тобой и ангелы во изголовье.

Заодно бабушка свою поясницу и свои руки-ноги натерла вонючим спиртом, опустилась на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву пресвятой богородице, охраняющей сон, покой и благоденствие в доме. На половине молитвы она прервалась, вслушивается, как я засыпаю, и где-то уже сквозь склеивающийся слух слышно:

— И чего к робенку привязалась? Обутки у него починены, догляд людской...

Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная оттого, что мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал на весь дом. Бабушка уж не колотила меня, а перепробовавши все свои лекарства, заплакала и напустилась на деда:

— Дрыхнешь, старый одер!.. А тут хоть пропади!

— Да не сплю я, не сплю. Че делать-то?

— Баню затопляй!

— Среди ночи?

— Среди ночи. Экой барин! Робенок-то! — Бабушка закрылась руками: — Да отколь напасть такая, да за что же она сиротиночку ломат, как тонку тали-и-инку... Ты долго кряхтеть будешь, толстодум? Чо ишшэшь? Вчерашний день ишшэшь? Вон твои рукавицы. Вон твоя шапка!..



Утром бабушка унесла меня в баню — сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоянной на борце, чтоб внутренность прогреть, и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченным с маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был, меня сшибло с ног, и я проспал до полудня. Разбудился от голосов. Санька препирался или ругался с бабушкой в кути.

— Не может он, не может... Я те русским языком толкую! — говорила бабушка. — Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, упочинила все, худо ли, бедно ли, изладила. А он слег...

— Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. Меня учитель послал. Бабушка Катерина!.. — настаивал Санька.

— Не может, говорю... Постой-ка, это ведь ты жиган, сманил его на увал-то! — осенило бабушку. — Сманил, а теперича?..

— Бабушка Катерина...

Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут.

— Все равно пойду! — кричал я на бабушку. — Давай рубаху! Штаны давай! Все равно пойду!

— Да куда пойдешь-то?.. С печки на полати, — покачала головой бабушка и незаметно сделала рукой отмахку, чтоб Санька убирался.

— Санька, стой! Не уходи-и-и-и! — завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала:

— Ну, куда пойдешь-то? Куда?

— Пойду-у-у! Давай рубаху! Шапку давай!..

Вид мой поверг и Саньку в удручение. Он помялся, помялся, потоптался, потоптался и скинул с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования.

— Ладно! — решительно сказал Санька. — Ладно! — еще решительней повторил он. — Раз так, я тоже не пойду! Все! — И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в середнюю. — Не последний день на свете живем! — солидно заявил Санька. И мне почудилось: не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. — Еще наснимаемся! Ништя-а-ак! Поедем в город и на коне, может, и на ахтомобиле заснимемся. Правда, бабушка Катерина? — закинул Санька удочку.

— Правда, Санька, правда. Я сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город, и к Волкову, к Волкову. Знаешь Волкова-то?

Санька Волкова не знал. И я тоже не знал.

— Самолучший это в городе фотограф! Он хочь на портрет, хочь на почпорт, хочь на коне, хочь на ероплане, хочь на чем заснимет!

— А школа? Школу он заснимет?

— Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной. К полу привинченный, — приуныла бабушка.

— Вот! А ты...

— Чего я? Чего я? Зато Волков в рамку сразу вставит.

— В ра-амку! Зачем мне твоя рамка?! Я без рамки хочу!

— Без рамки! Хочешь? Дак на! На! Отваливай! Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся! — Бабушка покидала в меня одежонку: рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки — все покидала. — Ступай, ступай! Баушка худа тебе хочет! Баушка — враг тебе! Она коло него, аспида, вьюном вьется, а он, видали, какие благодарствия баушке!..

Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят?

В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенья, брусницы, настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке, глядел на улицу, куда мне ходу пока не было, от безделья принимался плевать на стекла, и бабушка страшила меня, мол, зубы заболят. Но ничего зубам не сделалось, а вот ноги, плюй не плюй, все болят, все болят.

Деревенское окно, заделанное на зиму, — своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и каков обиход в избе.

Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам валиком клала вату и на белое сверху кидала три-четыре розетки рябины с листиками — и все. Никаких

излишеств. В средней же и в кути бабушка меж рам накладывала мох попеременно с брусничником. На мох несколько березовых углей, меж углей ворохом рябину — и уже без листьев.

Бабушка объяснила причуду эту так:

— Мох сырость засасывает. Уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, с кути чад.

Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя, у писателя Александра Яшина, прочел о том же: рябина от угара — первое средство. Народные приметы не знают границ и расстояний.

Бабушкины окна и соседские окна изучил я буквально досконально, по выражению председельсовета Митрохи.

У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах не все целы — где фанерка прибита, где тряпками заткнуто, в одной створке красным пузом выперла подушка.

В доме наискосок, у тетки Авдотьи, меж рам навалено всего: и ваты, и моху, и рябины, и калины, но главное там украшение — цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла, безногая собака-копилка, развешаны побрякушки без ручек и конь стоит без хвоста и гривы, с расковыренными ноздрями. Все эти городские подарки привозил деткам муж Авдотьи, Терентий, который где ныне находится — она и знать не знает. Года два и даже три может не появляться Терентий. Потом его словно коробейники из мешка вытряхнут, нарядного, пьяного, с гостинцами и подарками. Пойдет тогда шумная жизнь в доме тетки Авдотьи. Сама тетка Авдотья, вся жизнью издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом — и легкомыслие, и доброта, и бабья сварливость.

Дальше тетки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них — не знаю. Раньше не обращал внимания — некогда было, а теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю.

Какая тоска!

Оторвал листок у мятного цветка, помял в руках — воняет цветок, будто нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает, пьет с вареным молоком. Еще на окне алой остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуце глаза, но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли — корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы. Люблю я смотреть на оживающие цветы. Все почти горшки с цветами — геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами — находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки.

Но как только на калине под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подполья старый чугунок с дыркой на дне и поставит его на теплое окно в кути.

Через три-четыре дня из темной нежилой земли проткнутся бледно-зеленые острые побеги — и пойдут, пойдут они торопливо вверх, на ходу накапливая в себе темную зелень,

разворачиваясь в длинные листья, и однажды возникнет в пазухе этих листьев круглая палка, проворно двинется та зеленая палка в рост, опережая листья, породившие ее, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо.

Я всегда караулил то мгновение, тот миг свершающегося таинства — расцветания, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, скрыто от людского урочливого глаза, зацвела луковка.

Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, а бабушкин голос остановит:

— Гляди-ко, живунчик какой у нас народился!

На окне, в старом чугушке, возле замерзшего стекла над черной землей висел и улыбался яркогубый цветок с бело мерцающей сердцевинкой и как бы говорил младенчески-радостным ртом: «Ну вот и я! Дождались?»

К красному граммофончику осторожная тянулась рука, чтоб дотронуться до цветка, чтоб поверить в недалекую теперь весну, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника тепла, солнца, зеленой земли.

После того как загоралась на окне луковица, заметней прибывал день, плавилась толсто обмерзшие окна, бабушка доставала из подполья остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица меж тем, указав путь весне и цветению, сворачивала граммофончики, съеживалась, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подернутыми хромовым блеском ремнями стеблей, забытая всеми, снисходительно и терпеливо дожидалась весны, чтоб вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето.

Во дворе залился Шарик.

Бабушка перестала починяться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась, побежала в куть.

— Какой это там лешак ломится?.. Милости просим! Милости просим! — совсем другим, церковным голосом запела бабушка.

Я понял: к нам нагрянул важный гость, поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в куте учительской одежде висеть неприлично, пригласила учителя проходить.

Я притаился на печи. Учитель прошел в среднюю, еще раз поздоровался и справился обо мне.

— Поправляется, поправляется, — ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтоб не поддеть меня: — На еду уж здоров, вот на работу хил покуда.

Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтоб я слезал с печки.

Боязливо и нехотя я спустился с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня.

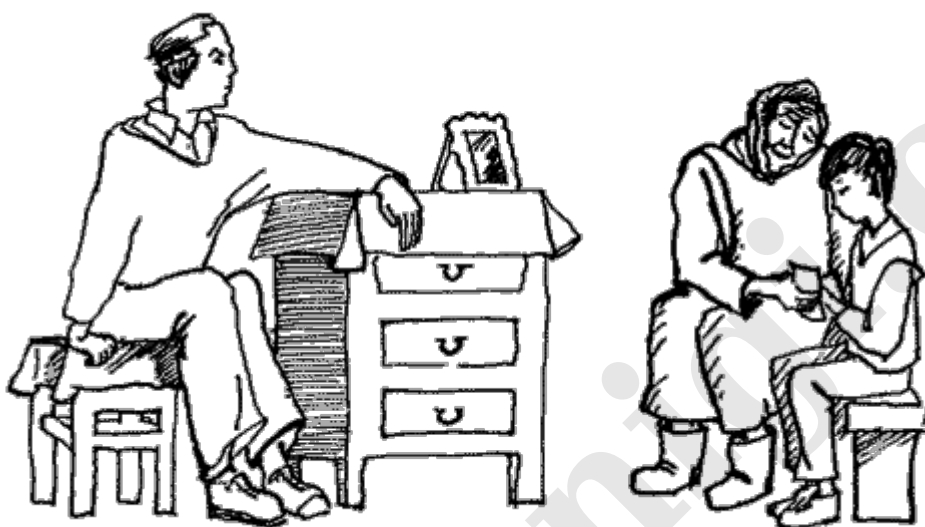
Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по

сравнению с деревенскими, каленными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа под «политику» — волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком.

— Я принес тебе фотографию, — сказал учитель и поискал глазами портфель.

Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть — портфель остался там.

И вот она, фотография, — на столе.



Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе! И лица величиной с подсолнечные семечки, а узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии: вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Ванька Сидоров, вон Нинка Шахматовская, ее брат Саня...

В гуще ребят, в самой середине, — учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное. Им что? У них ноги не болят.

Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще и еще перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня «худа немочь».

— Ничего, ничего! — успокоил меня учитель. — Фотограф, может быть, еще приедет.

— А я что ему толкую? Я то же и толкую...

Я отвернулся, моргая на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в среднюю, губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет. И не будет!

Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами.

— Как парнишечка? Грызть-то не унялася?

— Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Последние ночи спит спокойней.

— И слава богу. И слава богу. Они, робятишки, пока вырастут, ой сколько натерпишься с имя! Вон у меня их сколько, субчиков-то, было, а ниче, выросли. И ваш вырастет...

Самовар запел в кути протяжную тонкую песню. Разговор шел о том о сем. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил, поинтересовался насчет деда.

— Сам-то? Сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Каки наши достатки? Огородом, коровенкой да дровами живем.

— Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?

— Какой жа?

— Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров. Сухих, швырковых. И не могу дознаться, кто их свалил.

— А чего дознаваться-то? Нечего и дознаваться. Топите — и все дела.

— Да как-то неудобно.

— Чего неудобного. Дров-то нету? Нету. Ждать, когда преподобный Митроха распорядится? А и привезут сельсоветские — сырье сырьем, тоже радости мало.

Бабушка, конечно, знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает.

Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться на кого угодно: на сельсовет, на разбойника мужа, на свекровку. Дядя Левонтий — лиходей из лиходеев, когда пьяный, всю посуду прибьет. Васене фонарь привесит, ребятишек поразгонит. А как побеседовал с ним учитель — исправился дядя Левонтий. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал:

— Ну чисто рукой дурь снял! И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, вы... Да ежели со мной полюдски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!

Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока либо сметанки, творогу, брусники туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо, учительницу необидно отругают за неумелость в обиходе с дитем. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать. Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катанках. Умыкнули бабы катанки — и к сапожнику Жеребцову снесли. Шкалик поставили, чтоб с учителя, ни боже мой, копейки не взял Жеребцов и чтоб к утру, к школе все было готово. Сапожник Жеребцов — человек пьющий, ненадежный. Жена его, Тома, спрятала шкалик и не отдавала до тех пор, пока катанки не были подшиты.

Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев; на свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить.

А в какой школе начали работу наши учителя!

В старом деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, затем он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины.

Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек «Утильсырьё». Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сарай, амбары очистили от веками скапливаемого добра — старых самоваров, плугов, костей, тряпья.

В школе появились карандаши, тетради, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, женщины разжились иголками, нитками, пуговицами.

Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было — один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник.

Стол и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель за свою зарплату.

Учитель вот фотографа сговорил к нам приехать, и тот заснял ребят и школу. Это ли не радость! Это ли не достижение!

Учитель пил с бабушкой чай. И я первый раз в жизни сидел за одним столом с учителем и из всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюда чай. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила-а-а... И варенье, и брусницы, и сушки, и лампасейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и доволен, что учитель пьет у нас чай, безо всяких церемоний разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким гостем за угощение не приходится.

Учитель выпил два стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извиняясь, по деревенской привычке, за бедное угощение, но учитель благодарил ее, говорил, что всем он премного доволен, и желал бабушке доброго здоровья.

Когда учитель уходил из дома, я все же не удержался и любопытствовал насчет фотографа: «Скоро ли он опять приедет?»

— А, штабы тебя приподняло да шлепнуло! — бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя.

— Думаю, скоро, — ответил учитель. — Выздоровливай и приходи в школу, а то отстанешь. — Он поклонился дому, бабушке, она засемила следом, провожая его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене, будто та была не через два посада от нас, а невесть в каких дальних краях.

Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи скорее в школу — и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться — вроде бы грустно и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе отчего-то щемливо, хотелось заплакать.

Бабушка, ахая, убирала со стола богатую снедь и не переставала удивляться:

— И не поел-то ничего. И чаю два стакана токо выпил. Вот какой культурный человек! Вот че грамота делат! — И увещевала меня: — Учись, Витька, хорошеньче! В учителя, может, выйдешь або в десятники...

Не шумела в этот день бабушка ни на кого, даже со мной и с Шариком толковала мирным голосом, а хвасталась, а хвасталась! Всем, кто заходил к нам, подряд хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал! Школьную фотокарточку показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась заключить ее в рамку, которую она купит у китайцев на базаре.

Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стену повесила, но в город меня не везла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков.

К весне тетрадки, выменянные на утильсырье, исписались, краски искрасились, карандаши исстрогались, и учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо.

Как он много знал! И что кольца у дерева — это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвоей лечатся от нервов, и что из березы делают фанеру; из хвойных пород — он так и сказал — не из лесин, а из пород! — изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть и жизнь речек.

Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал, и он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать листовничную серу, различать по голосам птичек, зверьков и, если он заблудится в лесу, как выбраться оттуда, в особенности как спастись от лесного пожара, как выйти из страшного таежного огня.

Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на камень отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал:

— Ой, змея, змея!..

И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремowych подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела.

Еще и подумать никто ничего не успел, как учитель оттолкнул нас, схватил палку и принялся молотить по змее, по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки прострелов. Змея кипела ключом, подбрасывалась на хвосте.

— Не бейте через плечо! Не бейте через плечо! — кричали ребята, но учитель ничего не слышал. Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи в камнях и обернулся. Руки его дрожали. Ноздри и глаза его расширились, весь он был белый, «политика» его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных

ушах.

Мы отыскивали в камнях, отряхнули и подали ему кепку.

— Пойдемте, ребята, отсюда.

Мы посыпались с горы, учитель шел за нами следом, и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится.

Под горою учитель забрел в речку — Малую Слизневку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил:

— Почему кричали, чтоб не бить гадюку через плечо?

— Закинуть же на себя змею можно. Она, зараза, обовьется вокруг палки!.. — объясняли ребята учителю. — Да вы раньше-то хоть видели змей? — догадался кто-то спросить учителя.

— Нет, — виновато улыбнулся учитель. — Там, где я рос, никаких гадюк не водится. Там нет таких гор, и тайги нет.

Вот тебе и на! Нам надо было учителя-то оборонять, а мы?!

Прошли годы, много, ох, много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя — с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем-отчеством, но и лицом они походили друг на друга. «Чисто брат с сестрой!..» Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть, важно чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька.

Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя — сибиряк.

Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. школа 1-й ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит.

Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмеяться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были. Пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах — всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше «сняться» на карточку: пусть мои тетки и дядьки красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза; пусть казак, точнее, мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом; пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми напоказ из-под рукава, и другими предметами, демонстрирующими достаток в

доме, тарачатся с фотографий.

Я все равно не смеюсь.

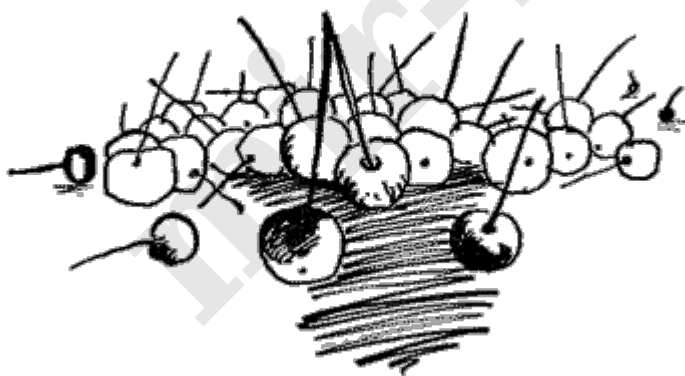
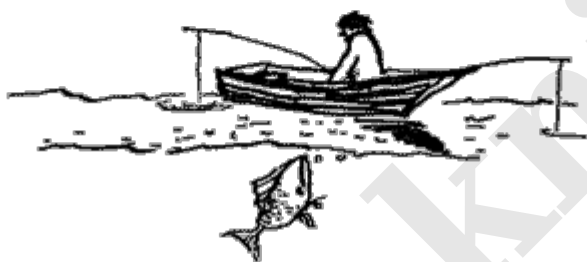
Деревенская фотография — своеобразная летопись нашего народа, настенная его история.



Борис Екимов

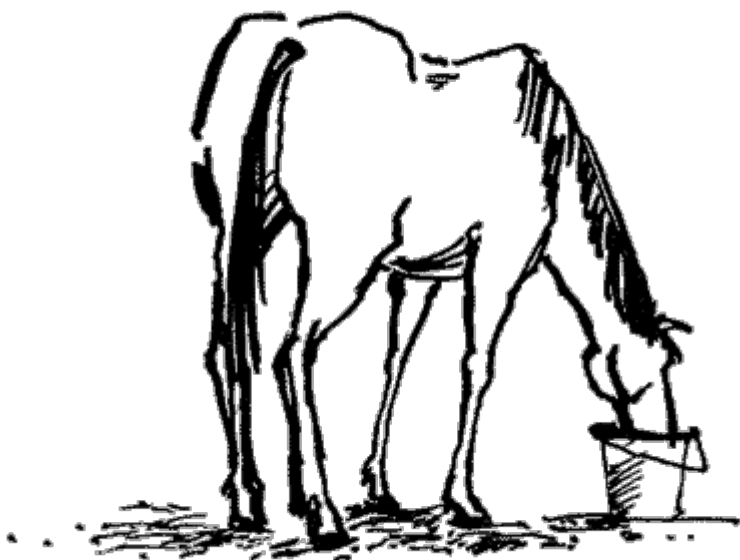
Озеро Дербень

Озеро Дербень



1

Самолет прибыл в Волгоград вовремя. В толпе пассажиров сына заметили сразу: он был высок и ладен в строгой морской форме, со светлыми звездами и шевронами.



На людях встретились как положено: со счастливыми лицами, с поцелуями, не виделись год почти. Но лишь сели в машину, мать сразу сникла.

— Читай, — протянула она бланк телеграммы.

«Выехать не могу отсутствием замены школе отказ министерство направил все хорошо целую Алексей».

— «Отказ министерство...» Это о заграничной стажировке? — уточнил Олег.

— Да! — разом ответили мать и отец.

— Ну, братец... — покачал головой Олег и поднял глаза на родителей. — Так ведь теперь поздно? Если он послал отказ?

— Не поздно! — снова одним разом выдохнули мать и отец. И объяснили: — Мы звонили в Москву, все растолковали: энтузиазм и прочее. Там поняли. Будут ждать его до конца месяца.

— Понятно, — сказал Олег и спросил: — А почему мы не едем?

— В самом деле... — опаматовалась мать и подняла на мужа вопрошающий взгляд.

Тот лишь пальцем постучал себя по виску, вздохнул и тронул машину с места.

Впереди была дорога долгая, по степи, дорога через Дон на Бузулук, и потому решили пообедать. Олег редко теперь у своих гостил, и старая родительская квартира волновала его, словно возвращение в детство: кабинет матери и отца с книгами, просторными рабочими столами, их с Алешкой мальчишечья комната, там и теперь хранились его первые конструкторские работы, модели кораблей.

За обедом о младшем сыне и брате, о беде, для которой собрались, молчали, словно сговорившись. Мать с отцом рассказывали об университете, о старых знакомых; Олег — о своей семье, жене, детях. О работе он всегда говорил скупой: «Строим кораблики» — и все. Мать с

отцом понимали: военная служба, тайна. Не допрашивали, но видели, что дела у старшего сына идут хорошо: в тридцать четыре года три большие звезды на погонах, свой конструкторский отдел, — видели и радовались.

О младшем сыне молчали, но думали. И когда, собираясь в дорогу, Олег хотел снять военную форму, мать воспротивилась:

— Нет-нет... Ты так строже, внушительней. Алешка тебя уважает, не то что нас... — не сдержалась она и всхлипнула.

Собрались в дорогу. Олег хотел сесть за руль, но мать сказала:

— Погоди. Я хочу с тобой поговорить. Все-все-все рассказать. — Но ничего рассказать она не успела, лишь вымолвила: — Боже мой... — и заплакала.

Отец, сидя за рулем, раз и другой обернулся к жене и сыну, а потом остановил машину, стекло опустив, закурил. Мать не сразу поняла, что машина стоит, а когда поняла, спросила:

— В чем дело?

— Ты же плачешь...

— Ну и что? Я плачу, а ты поезжай.

— Нет. Я так не могу. У меня сердце не каменное.

— О господи... И поплакать нельзя. — И, поглядев на его сигарету, сказала осуждающе: — Отец наш курить стал. Видишь?

— Вижу, — ответил Олег.

— Ну, поехали, я готова.

Она поправила прическу, косметику и стала опять миловидной нестарой женщиной.

— Вот так, Олешка. Такие дела. Ты меня пойми правильно. Я не заносчивая барыня, не мадам профессорша, которая никому воли не дает. Ты помнишь, я тебе слова не сказала, когда ты путь себе выбрал. Хотя я и сейчас не терплю вот этих штук, — тронула она погоны, — вашего «так точно» и «слушаюсь», мне все это не по душе. Но ты захотел — твоя воля, не стала поперек. И с Алешкой... Разве я толкала его в университет, по отцовским да моим стопам? Видит бог, не толкала. Но радовалась. А как же... Сколько отец работал, немного и я. Что-то сделано, но осталось много замыслов, которые мы уже не осуществим. Сколько собрано материала, который может пропасть. А сын — наследник всему. Это радость, Олег, большая радость. И опять, видит бог, опять я ничего не имела бы против, если после университета он как и многие, пошел бы в школу, пусть деревенскую. Работал бы, как дед Тимофей. Ты знаешь, как мы к деду относились, и отец, и я, с каким уважением. Пусть бы и Алексей работал. Но ведь он сам выбрал иную дорогу, стал заниматься наукой. И как? Блестяще. Ты знаешь. Я как специалист скажу: это очень глубоко. Академик Званцов следит за его работой. Стажировка во Франции и, возможно, в Италии — это Званцова забота. Три года в таких университетах. Такие возможности... И все бросить! И ради чего?! — снова начала она горячиться. — Любовь, видите ли... Свеженькая деревенская деваха! И шлея под хвост. Все к черту: учеба, работа, докторская диссертация, стажировка, мать, отец, будущая жизнь — все к черту! Ради этой деревенской матрехи...

— Погоди... — осторожно предупредил ее муж. — Во-первых, не волнуйся, а во-вторых, не надо так.

— А как?.. Как надо? Да, я прямо, открытым текстом. И как можно таким дураком быть в двадцать пять лет? Ну, в семнадцать любовь, первая женщина — понимаю. Но в двадцать пять... с дымом, с пеплом!..

— Я думаю, ты кое-что упрощаешь. Ведь он ничего не говорил про Катю.



— А мне не нужны слова. Я женщина, мать, я и так поняла. Ведь прежде он там жил, и все в порядке, отдыхал. Потом дед помер — тоскливо... И тут все началось. Какие-то намеки, уклончивые ответы по телефону. Туда и сейчас невозможно дозвониться, — объяснила она сыну. — Не слышно ничего. Я ему кричу: «В чем дело?! Ты с ума сошел!» А он свое: «Я буду здесь, мне хорошо». Хорошо да хорошо, заладил одно: хорошо. Я понимаю, что за этим «хорошо» кроется.

— Ладно, — остановил ее муж. — Не волнуйся. Приедем, все объяснится. А то телефонные разговоры, недомолвки, телеграммы. Успокойся.

— И молчи? — язвительно спросила жена.

— Почему? Любуйся пейзажами вслух.

Выехали за город. Открылась глазу просторная зимняя степь, высокая синева неба. Белая степь, мохнатые от инея придорожные клены да вязки. Но в душе матери не было покоя.

2

Светало поздно, и потому просыпался он в темноте. Просыпался и слушал, как шумит озеро. Вечером он засыпал под его мерный, баюкающий гул, а теперь, поутру, что-то бодрящее слышалось в шуме волн.

На этой неделе озеро должно было замерзнуть. Хрусткие закраины уже какой день тянулись от берегов. И каждое утро, просыпаясь, Алексей ждал тишины. Но было ветрено, и озеро не сдавалось.

Он поднялся, поставил на плитку чайник и вышел во двор. Смутно белел снег. От озера ветер нес теплую пресноту воды и острый дух молодого льда. Пока Алексей делал зарядку и умывался, чайник уже кипел.

Алексей завтракал в тихом доме и глядел в черное окно. Оно выходило к озеру, но лишь под самым окошком лежало на снегу желтое пятно света, а дальше — темь. И озеро гудело под ветром. Ветер был северный и обещал скорую стужу. Но уже какой день хорошо брал крупный, необычно красивый окунь — с черной спиной и алыми плавниками. Ловить его было заманчиво.

Но все это потом, днем, теперь же пора было в школу.

Хутор уже проснулся, светил окнами домов в ненастном ноябрьском утре. Из катуха подала о себе весть негромким ржанием кобыла Тамарка, словно спрашивая молодого хозяина, не забыл ли он о ней. Но Алексей уже приготовил болтушку и, пока лошадь пила, надергал и принес сена.

Старый хозяин в последние годы, ноги свои пожаливая, ездил по делам на тачанке. Молодой — ходил пешком. Путь был недалек: школа глядела желтыми окнами с Поповского бугра.

А за двором, через улицу, светил цигаркою дед Прокофий, старый хуторской коваль. Он недавно оставил кузню, долго спать не мог и в урочный час выходил к воротам.

— Здорово ночевал, дед Прокофий! — приветствовал его Алексей.

— Слава богу, Алеша.

Они здоровались за руку, недолго беседовали.

— Не просыпаешь? — спрашивал дед.

— Привык.

— Это неплохо. Поздня птичка, говорят, только глаза продирает, а у ранней уже нос в табаке, — смеялся он и спрашивал каждый день: — Как там мой?

У Алексея, в восьмом классе, учился один из внуков деда Прокофия.

— Молодец. Вчера хорошо отвечал, — хвалил Алексей.

Дед Прокофий покрхтывал.

— Ты его крепче держи. Чуть чего — за уши. Скажи, дед Прокофий велел, а то сам придет.

— А он нас и вдвоем оттягает, — смеялся Алексей. — Детина вырос...

— Атаманец... — соглашался дед.

Хлопнула дверь хаты, выпуская на волю еще одного ученика, первоклассника Витьку. Обычно он со ступенек сбегал и по улице мчал споро. А нынче шел спокойно и важно.

— При новом платье... — похвастался дед. — А как же!

В утренних сумерках, но Алексей разглядел долгополую одежку с воротником — в такой не разбежишься. И мальчик шагал неторопливо.

А в школе уже было шумно.

Прозвенел звонок. И покатались уроки, один за другим. Но сегодня Алексей кончил рано и заспешил домой. Хотелось порыбачить. На дворе разведрилось, и сосед Василий Андреевич мог не выдержать и уехать один.

Сбежав со школьных ступенек, Алексей чуть было не наткнулся на... живое пальто. Да, это было серое пальто с воротником. И оно осторожно двигалось по земле. Висели пустые рукава, воротник торчал, полы загребали снег. Алексей остановился удивленный, присвистнул.

— Что это?

На свист и вопрос пальто не ответило, лишь что-то внутри его шмыгнуло, засопело, шевельнулся воротник, и показалось личико соседа-первоклассника, Прокофьева внука.

— Витек, ты?

— Я.

— Новое пальто?

— Новое.

— Ну и пальто, — восхитился Алексей. — Кто его покупал?

— Мамка.

— Она его на себя, что ли, мерила, — попенял Алексей. Мальчишка еле двигался, и Алексей сыскал в просторном рукаве его руку и повел, ругая в душе деревенские обычаи брать одежду на долгий вырост.

Дед Прокофий их встретил, ужаснулся:

— Это Виктор?

— А то кто ж...

— Еш-твою... Таиса! Тайка!! — криком звал он сноху, а та когда прибежала, указал на утонувшего в пальто внука: — Это чего?!

Молодуха изумленно всплеснула руками:

— Господи! — И вдруг поняла: — Это они с Васькой Кривошеиным поменялись. Маруся со мной брала. А тот дылдак как натянул...

— Я думал, на вырост... — смеялся Алексей.

— Да ну... Господи! Как дошло дите...

Они посмеялись все вместе. И Алексей побежал к себе. По дому и двору, затапливая печь, согревая еду, лошадь обихаживая, кабана и птицу, Алексей носился стрелою, носился и соседу кричал:

— Василий Андрейч! Ты живой? Поехали порыбалим! Подергаем окушков, собирайся!

Сосед, Василий Андреевич, старик-пенсионер, тоже из учителей, откликнулся сразу. Откликнулся и к Алексею в хату зашел.

— Поехали? — сказал Алексей. — Давай собираться.

Василий Андреевич переминался с ноги на ногу, вздыхал.

— Евгения Павловна... Дрова, говорит, пилить...

На этой неделе соседям привезли два дубка, и они лежали у двора.

Алексей мигом прикинул и сказал:

— Два часа рыбалим, потом пилим. Понял? Успеем.

— Да Евгения Павловна... — покачал головой сосед. — Ты бы ей сам...

— Приду. Сейчас пообедаю и договорюсь. Собирайся. Окуневые блесны, светлые. Нынче все же сумеречно.

Старик сразу оживел:

— Я мигом. А ты — Евгении Павловне, а то она меня...

— Давай! — махнул рукой Алексей, и старик исчез за дверью.

Печка гудела, разгораясь. Алексей засыпал угля, доел и стал собираться. И уже одетый порыбачьему, в высоких, по бедра резиновых сапогах, пошел к соседу.

Соседова жена, круглолицая, низенькая, пухлая старушка, Алексея жаловала. Но теперь, когда он вошел в дом в рыбацком наряде, она все поняла и страдальчески сморщилась.

— Алеша, — попросила она, — не бери моего, пусть дрова пилит. Перед соседями стыдно. Неделю дубки лежат.

Василий Андреевич, потаясь, выглядывал из боковой каморки.

Смеясь и радуясь доброй старости своих соседей, Алексей сказал:

— Евгения Павловна, вы мне верите?

— Верю.

— Два часа рыбачим, — показал он для убедительности на пальцах, — потом пилим. Я свою пилу беру. И в две пилы мы за час все сделаем. Договорились? Ведь последние дни. Озеро завтра встанет. Ухи охота. Два часа! — не убирал он пальцы. — И дрова все будут попилены. Верите мне?

— Ну, пусть едет, — махнула рукой Евгения Павловна. — Только одевайся... — повернулась она к мужу.

А у того уже все было готово: он ухватил рюкзачок, а в другую руку — громыхающий брезентовый плащ. Выкатились на крыльцо, беззвучно посмеиваясь.

Озеро пахло им в лицо стылой свежестью, напоминая о себе, и они враз посерьезнели, заспешили вниз, к воде, к лодке.



3

Вернулись засветло. В затишке Акимовского затона у камышей, как и полагали, окунь брал

хорошо. Нечасто, но крупный, мерной, с алыми плавниками, словно горящими от ледяной зимней воды.

Вернулись с рыбой, домой заходить не стали.

— Хозяйка! — крикнул Алексей у крыльца. — Принимай улов!

А из дома неожиданно вышла не Евгения Павловна, а внучка ее, Катя. Вышла и сразу запунцовела от ветра и радости, зубы ее белели, и сияли глаза.

— Чего шумишь? — спросила она.

— Ты откуда? — удивленно проговорил Алексей.

— От верблюда. — И тут же объяснила: — Я лишь на сегодня, а утром уеду. С фельдшерницей.

Как отраднo было глядеть на нее, хорошеликую, в ладном платье. Так и хотелось по светлой головке погладить. Но гладить Алексей, конечно, не стал, лишь тронул руку, рыбу передавая, и сказал:

— Держи. — И добавил тише: — Спасибо, что приехала.

Этого она и ждала, ради этого сюда и летела. И если бы Алексей не сказал этих слов, она бы их все равно прочтала: в лице, в глазах. Но он даже сказал, и Катя так была счастлива, что слезы подступили. Она их скрыла и побежала в дом.

И пока Василий Андреевич с Алешей пилили дрова, в две бензопилы, с гулом, синим дымом и свежими, желтыми опилками на белом снегу, Катя старалась не упускать их из виду. Рыбу чистила во дворе и косилась на Алексея, потом в дом ушла, а все в окошко посматривала.

— Не наглядисься? — спросила Евгения Павловна, словно осуждая. — И чего ты ехала из-за каких-то полдня? А утром чуть свет вставать.

Катерина училась в техникуме, в районе, а до него было тридцать пять километров.

— Ой, мне так захотелось, баба Женя... Прямо я не смогла. Я и не собиралась, а машина идет — вижу, наша. Во мне все загорелось. И я поехала.

— Понятно, — покачала головой бабка. — Ох, боюсь я...

Они вместе встали у окна, старая и молодая, и глядели на Алексея: в сером ватнике, туго подпоясанный, он был силен и высок; крепкие руки его легко держали фыркающую пилу. И работал он весело, чего-то кричал Василию Андреевичу и смеялся.

— Чего ты боишься, баба Женя?

— Да как-то непонятно... Странно... А вдруг ему надоест?

— Кто? Я?

— Не ты. Я о другом. Отец у него — профессор, мать — ученая. Какая квартира в городе, работа. А он здесь. Непонятно.

— Но ведь он же наш...

— Конечно, наш, — ответила бабка, — и я его люблю. Всегда любила, он хороший парень. И я рада за тебя, Катюша. Но как-то...

— Что как-то?

— Сама не знаю, — честно ответила Евгения Павловна. — Ведь кандидат наук, с диссертацией — и вдруг у нас в школе. Почему?

— Ну и что? Разве это плохо?

— Не знаю, — вздохнула бабка.

А потом был долгий ужин с пахучей окуневой ухой, рыбными пирожками. Ужин и разговоры. Старики вспоминали о прошлом. Алексей любил слушать их. Слушал и поглядывал на Катю, и временами странные мысли посещали его. Ему представлялось, как через много лет будут они с Катей вот такими же старыми: он — худой, морщинистый — станет носить очки и поверх очков козелком поглядывать; а Катя располнеет, поседеет и вот так же будет корить его рыбалкой, охотой, прочими забавами, не желая его отлучек. И эти видения не были горькими, ведь обещали они долгую согласную жизнь и покойную старость.

После ужина Алексей сказал:

— Катя, поехали Тamarку промнем.

— Поехали! — обрадовалась Катя.

— Алеша... Ночью... — принялась отговаривать Евгения Павловна. — Темно... Кате завтра рано вставать.

— Мы недолго. Прокатимся и назад.

— Бабушка, мне так хочется...

— Ну и пусть поедут, — вступился Василий Андреевич. — Чего ты?

Евгения Павловна махнула рукой: «Поезжайте». Но потом, когда молодые ушли, она досады не скрывает. И муж спросил ее:

— Ты чего? Чем тебе Алексей нехорош стал?

Евгения Павловна поглядела на мужа внимательно, вздохнула.

— Хорош-то он хорош. Да там-то у него чего случилось?

— Ты о чем? — изумился Василий Андреевич. — Чего плетешь?

— Вот и плету. Катя — молодая, глупая, а ты вот... Ты — старый человек, а туда же. Ты знаешь, что у Алексея в Ленинграде случилось?

— А чего у него случилось?

— Вот я и спрашиваю: что? Закончил аспирантуру с отличием, защитился, собирался на стажировку за границу — ведь так было. А потом трах-бах — и на хуторе. Ты это можешь мне

объяснить?

— Могу, — ответил Василий Андреевич. — Надоело ему там. Там, в Ленинграде-то, болота, туманы, дожди, солнца за год не увидишь. Вот он все бросил и приехал сюда.

— Нет, — решительно отвергла его резоны жена. — Твои объяснения меня не устраивают. И пока я до правды не докопаюсь...

А тем временем Алексей вывел из стойла лошадь. Она охотно пошла и, довольно фыркая, принимала упряжь, занудившись долгим отдыхом.

Санки были устланы соломой. Алексей вынес дедов тулуп, бросил его в кошевку, и поехали.

Тронулись потихоньку в гору. Тамарка во тьме чутьем и копытом угадывала дорогу.

— Ты не хочешь ее отдавать? — спросила Катя.

— Зачем? Сена, что ли, жалко? Привезти, отвезти — мало ли дел.

Наверху, на горе, ветер тянул сильнее, и Алексей укутал Катерину в тулуп, оставляя на воле лишь горевшее от ветра и молодой крови лицо.

— Да и вообще, — засмеялся он, — если Тамарку отдать, то я один-одинешенек останусь. И знаешь, боля моя, — наклонился он к Кате, — давай-ка быстрее кончай свое учение, приезжай, поженимся и будем жить. А то мне бывает одиноко.

— Хочешь, я брошу? — выпрастываясь из тулупа, придвинулась к нему Катерина и стала целовать холодными губами дорогое лицо. В последних словах она почувствовала взаправдашнюю тоску. — Хочешь, я завтра не поеду и останусь?

— Нет, не хочу, — сказал Алексей. — Нам долго с тобой жить, есть время. Давай кончай, весной поженимся. Диплом будешь здесь делать. И все. Будем жить.

К грейдеру они не поехали, повернув на Клейменовку, и скоро оказались на Лебедевской горе, на самой ее вершине. Отсюда, сверху, Алексей погнал лошадь, и она легко понеслась под гору, ускоряя ход.

Ветер запел в ушах. Катерина прижалась к Алексею, испуганная, и он крикнул ей: «Не трись!» Глухо стучали копыта по набитой дороге. Белый снег обрезался в двух шагах. Мир валился не в черную глухую пропасть, но открывался и плыл навстречу пылающей бездною звездных огней. Здесь все было рядом: парящий Орион и белое облако Плеяд, крылатая Кассиопея, Малый ковш и Большой, полные огнистого пития.

Сани ускоряли и ускоряли бег, и казалось: еще только миг — и зазвенит под копытами кремневая твердь Млечного Пути, и уже иные, небесные кони подхватят и понесут. И будут лететь навстречу и мимо, сдуваемые ветром, новые и новые миры, названия которым нет и не будет.

Но Алексей вовремя, на середине горы, начал сдерживать и вовремя повернул. И потом долго, до самого Дербеня, легко катили и катили. Светили впереди земные огни хутора, шумело в ночи Дербень-озеро.

И лишь ночью, во сне, Катерине снилось, что снова и снова скачут они, а потом улетают.

Алексей по привычке ложился поздно. В просторном дедовском доме одна из комнат служила библиотекой и кабинетом. Стены были уставлены полками, на которых за рядом ряд стояли книги. Дед прожил восемь десятков лет, всегда любил чтение, и книги стекались к нему. Теперь Алексею было что поглядеть.

На стене, под стеклом, в деревянной раме, теснились фотографии родных людей. Дед Тимофей в сапогах и косоворотке, а потом в пиджачной паре, с галстуком. Молодой, непохожий, лишь высокий лоб да глаза угадывались. Рядом бабушка. Служивый прадед в казачьей справе, с такими же чубатыми односумами — прадед Алексей. И прапрадед Фатей при Георгии, с братьями. К старинным фотографиям приткнулись новые: отец с матерью, брат Олег и сам Алексей — молоденький студентик, дядья и тетки, их дети.

Последние годы дед Тимофей жил один. Десять лет назад умерла жена. Сыновья звали к себе, но он не поехал. Он жил в своем дербневском доме и работал в школе. Здесь прошла его жизнь. Летом приезжали дети и внуки. Алексей, сколько помнил себя, все каникулы проводил только здесь, в Дербене, жывал здесь летом, осенью и зимой. Ни в каких лагерях сроду не бывал и, лишь распускали на каникулы, мчался на хутор. И начиналось долгое лето: на озере, в поле, в лесу.

В годы студенческие свободного времени выпадало меньше — короткий отдых, строительные отряды, — но все равно Алексей бывал у деда зимой и летом. На косьбу обязательно приезжал, копать картошку, мед качать и, конечно, рыбачить. Рыбачил Алексей и в других местах — и даже успешней: на Дону, на Волге, на Каспии, в Сибири. Но разве можно сравнить места чужие с Дербенем? Здесь слаще вода, зеленой камыш, здесь даже немудреный пескарь сиял под солнцем золотою рыбкою.

Последние годы ученья были нелегкими: ленинградская аспирантура, тамошний университет, диссертация, защита. Все дальше уплывали хутор Дербень и озеро, сохраняясь лишь в памяти. Да дедовы письма не давали забыть, потому что писал дед о делах дорогих: рыбалке, садах, пчелах, лошадях, которых он очень любил. Исстари на подворье кони стояли, все кобылы: Гнедуха, Лыска, Белоножка, игривая Фиалка, могучая Чубарка и теперь вот Тамарка, последняя. Коров Алексей не помнит, лошадей — всех.

Нынешней осенью ученье вроде бы кончилось: позади защита диссертации. А впереди неясно: то ли свой университет, а может, ленинградский, а вернее всего, два или три года заграницы. Но не все еще было определено, можно месяц-другой отдохнуть. Из Ленинграда прилетев, Алексей тотчас собрался к деду. И прибыл вовремя. Дед Тимофей болел. Еще на станции, у автобуса, Алексею сказали: дед лежит.

Он и вправду лежал в своей комнате-кабинете, самой большой в доме и самой тесной. Здесь стояли дедова кровать, рабочий стол, большой старинный диван, полки с книгами вдоль стен, от пола до потолка. Старые газеты, журналы, папки с вырезками. И тыквы — дедова слабость — по всей комнате: оранжевые «русские», розовые «ломтевки», тяжелые «дурнавки», сухие «кубышки» и яркая пестрядь «травянок», словно морские голыши, валялись повсюду — на столе, подоконниках, полках, — светя и радуя глаз в пасмурные дни.

Алексей вошел в комнату. Дед Тимофей дремал, но сразу очнулся. Увидел внука, сел на кровати и засмеялся, ничего не говоря, — так был рад.

— Ты чего, дедуня? — спросил Алексей, здороваясь и целуясь. — Что с тобой?

— Да вроде помирать собрался, — ответил дед Тимофей.

— Чего-чего?.. Это ты брось, — не поверил Алексей.

— А не велишь, так не буду, — охотно согласился дед. — Дай поглядеть на тебя, мусью французик тонконогий...

Он смеялся так хорошо, что у Алексея от сердца отлегло. И он забежал по дому, собирая еду прямо здесь, в дедовой комнате, самой лучшей в доме. Здесь всегда — зимой и летом — лежали свежие яблоки. В полотняных мешочках и пучках сухие травы: чебрец, ромашка, зверобой. А для чая, в жестяных коробках, мята, липовый и боярки цвет. Мед — во фляге, моченый терн — в ведре. Всякие всякости. И потому пахло в комнате не жильем, а волей.

Алексей хлопотал по дому: заваривал чай, нарезал сыр и колбасу — городские гостинцы, материно печенье доставал, а из холодильника мясо и молоко, курицу, из огорода зелень принес, для чая — медку. Он хлопотал и поглядывал на деда Тимофея. Не виделись год почти. А дед Тимофей давно уже гляделся в одной поре: сухой, жилистый, темнолицый, с сивым жестким чубчиком волос. Сколько помнил себя Алексей, он всегда был таким, и прежде и теперь. Желудевые глаза светили молодо, поигрывали морщины на высоком лбу.

— Я подниматься не буду, — сказал дед, — а то фельдшерница заругает. Тут приезжали врачи, Василий Шкороборов да Фаина Жалнина, ее настропалили. Она гоняет за мной. Ты вина чего не налил? Винцо ныне... — причмокнул дед. — Может, чуток не проиграло. Но жара стояла, виноград удался, налей.

— И тебе, что ль? — спросил Алексей.

— Не, я, парень, отпился.

Алексей нацедил из бутылки вина. Черная терпковатая ягода, отдавая сок, превращалась в алое питье.

— Твое здоровье, дедуня!

Алексей не терпел водки, заводских вин, но хуторское вино пил с удовольствием, ценя в нем добрую сладость, бодрящий ток, да и глядеть на него было приятно.

— Твое здоровье...

Дед Тимофей поднял бокал со своим питьем.

Алексей ел много и с удовольствием: мясо, лук, сладкий болгарский перец, последние уже помидоры, домашнее масло, откидное молоко — все подряд.

— Так чего у тебя болит? Какой диагноз?

— Старость, — коротко ответил дед Тимофей.

— Ну да... — не поверил Алексей. — Сейчас восемьдесят — разве годы?

— А мне — добрая сотня.

— Почему?

— Четыре года войны, год за три. Да и другие, несладкие.

— Так, конечно, можно насчитать, — остановил его Алексей.

— А куда денешься? — развел руками дед. — Что было, то было. Ты вот живи без войны и всякой пакости, тогда все твои.

— Постараюсь, — пообещал Алексей.

— Дай бог, дай бог...

Дед чаю попил, клюнул раз-другой из тарелок и лег. И теперь, когда он лежал, Алексею показалось, что дед и вправду серьезно болен: восковая желтизна пробивалась на впалых висках и залысинах.

Дед положил подушку повыше, сказал:

— Я тебя ждал, чуял. Какие у тебя дела? Хвались.

А потом пришел сосед Василий Андреевич и принес горячие пирожки с морковью, в каймаке. А следом явилась фельдшерица с печеньем.

Оставив деда с нею, Алексей вышел на веранду. Вышел, оперся на резной столбушок и замер.

Глядело ему в глаза синее Дербень-озеро, ясное дербенеvское небо, старинные груши-дулины с могучей зеленью, дербенеvские дома над озером, а дальше — Лебедевская гора и дорога вверх.

Алексей родился здесь, потом увезли его в город. Но каждый год и зиму, и лето напролет проводил он в Дербене, у деда с бабкой. Здесь была воля: Дербень-озеро и вся округа от Ярыжек и Дурных хуторов до Поповки, от Ястребовки до Исакова; с Мартыновским лесом и Летником, с Песками и Пчельником, с Лебедевской и Ярыженской горами, Бузулуком, Паникой, Лесной Паникой, глухими старицами и озерами; со всеми грибами и ягодами, рыбой и клешнястыми раками, сенокосом, веселыми играми, купаньем, лыжным летом с горы, садами и огородами — со всем несметным богатством щедрой родины.

Фельдшерица вышла от деда и сказала:

— Вечером зайду.

А дед уже звал:

— Алеша, ты где?! Все, получил свое, — посмеиваясь, хлопнул он себя по заду. — Садись. Выпей вина. А арбуз? — всполошился дед. — Арбуз чего не режешь? Грех говорить, хлеба-то нынче небогатые, жара прихватила. Но зато виноград и арбузы — сладость. Дыньки-репанки, ешь не наешься. Тащи.

И дед Тимофей с радостью глядел, как управляется внук с арбузом и дыней. В азарте даже сам, отстраняя немочь, арбузиком посладился, почмокал губами.

— Чуешь? Сахарный.

Арбуз был и вправду хорош: в белой корке, с алой мякотью.

— Ты на сколько приехал? На два месяца? Молодец! У нас дела пойдут. Завтра я на веранду перейду. Соберешь мне там койку. Там веселее... В школе меня заменишь. У меня часов немного... Идея! — воскликнул дед. — Ты с ними западную литературу пройдешь. В восьмом и

девятом. Она в конце, а мы ее вперед поставим. Все же ты специалист. Расскажешь о Мольере, Гете, Шиллере, Гейне. Согласен? Ну и молодец.

Дед Тимофей учительствовал всю жизнь в Дербеневской школе. Ее он и кончал. А потом педагогический техникум, позднее институт заочный по двум факультетам. Преподавал русский язык, литературу, биологию, химию, географию, историю, физику, немецкий язык, который знал хорошо. Он преподавал все, что было нужно, лишь в математику не лез. Но в последние годы оставил себе главное свое: русский язык и литературу.

— Я в школе скажу. Сегодня придут ко мне, я скажу. Они рады будут тебя послушать. А как же... Кандидат наук. У тебя с ребятами получается.

У Алексея и вправду в школе неплохо получалось. Он проходил у деда практику и, приезжая, каждый раз несколько уроков, но проводил. Ему нравилось. И дед считал это полезным для Алексея и ребят.

— А сейчас ты съезди порыбачь, — сказал дед. — Карпик хорошо берется, на жареху поймай и на уху окунишек надергай. Съезди, а я пока отдохну. Устал, — признался он, убирая большую подушку. — Рад очень. Удочки на месте.

Удочки хранились всегда под застрехой сарая на крючьях. Там и сумка висела с блеснами. Рыбачить любили и дед, и Алексей. И ловили всегда удачливо.

Нынче Алексей шутя надергал два десятка вершковых карасиков, потом начал блеснить и добыл пару щук и окуней — как раз на уху. В озере вода уже остывала, в зеленых камышах появилась осенняя просесть.

Но вода еще была теплой, и Алексей искупался дважды: сразу после рыбалки и поздно вечером, в темноте.

В доме пахло ухой. Дед Тимофей читал, полусидя на высоких подушках. Увидев входящего Алексея, он поглядел на него внимательно.

— Ты такой белый, прямо городское дитя, питерское.

— А я такое и есть, — сказал Алексей. — Целое лето солнца не видал и воды.

— Там же Нева, Финский залив.

— Нет. Не могу. Неприятно. Холодно и грязно.

Дед усмехнулся.

— Царь Петр на эти болота кнутом людей сгонял. А тебя кто гонит? Ну, здесь покупаешься, — подобрел он. — Есть время. Я так рад, что ты приехал. Я знал, что ты приедешь. Долго не видались. Отец твой и брат — они здесь не любят жить. Комары им досаждают, жара... Им неловко. Они, конечно, любят Дербень, родину. Но эта любовь созерцательная, со стороны. А ты свой. Я, грешным делом, думал, что ты будешь жить здесь. Особенно когда ты практику проходил. А получилось по-иному.

Алексей принес в миске крупного бельфлера. Яблоки были сочные: откусишь — и полный рот соку. Алексей поставил миску на стол и слушал деда.

— Я здесь как-то раздумывал: а не катишься ли ты по наезженной дороге? Университет — хорошо, а из университета вытекает аспирантура, как лучшее достижение. Потом защита кандидатской. После нее что? Естественно — материал для докторской, докторская. Потом кафедра. Вот и все. Путь до блеска накатанный. Желоб без ложных рукавов. Запустили — катись. И без вопроса: «Зачем это?» Вот, например, стажировка во Франции. Это дело решенное?

— Почти, — ответил Алексей.

— А зачем она? — спросил дед. — Нет, ты правильно меня пойми. Ты сейчас откинь все мелочи и подумай мудро: «Я еду, оставляю на три года родину, близких, знакомых. Иду в чужое житье, в неволю для того, чтобы...» Для чего?

— Любопытно, — ответил Алексей. — Другая страна, другой мир. Поглядеть.

— Вот именно, лишь любопытно. А платить любопытству такой долей своей жизни не щедро ли?

— Но там тоже жизнь, — ответил Алексей.

— Чужая. К тебе неприложимая. На месяц я, быть может, и поехал бы. Нет, на десять дней. Поглазеть. А отдать три года жизни не согласен. Особенно сейчас, с вершины жизни, вижу ясно: не за что платить так щедро. Я, Алеша, очень счастливый человек. Дай яблочка...

Алексей подал деду крупный, в розовую полоску плод. Дед Тимофей взял его, начал разглядывать.

— Могучий сорт, — сказал он. — Я его вначале не понял. Прет, лист в ладонь, ветви толстенные. Обрежешь — затягивает, словно тесто. А начал родить — красота. Соседи для гостей все обируют. Я его еще на два дерева прилепил, длинным привоем, на четыре почки. Пошел хорошо. — Он оглядел яблоко, хрумкнул, пососал сок. — Так я о жизни. В чем мое счастье? Счастье мое в судьбе. В том, что судьба ли, бог... — Он задумался. — Нет, судьба. В бога я не уверовал. Судьба меня, слепого щенка, мотала, крутила, но несла единственно правильным путем. Не унесла из Дербеня — это было великим счастьем. Она меня оставила здесь, на моей земле, которую я любил. Теперь, с вершины лет, я гляжу и радуюсь. Каждый день я жил счастливо. А могло по-иному быть: куда-нибудь уехал, а в Дербень — в отпуск. Пускал бы слезу, охал. Приезжают наши старики на лето погостить: охи-ахи. А мне жаловаться, слава богу, не на что. Ты вот прискакал, и, как телок по весне, тебе все счастье: купаться, рыбалить, в саду повозиться, с пчелами или просто посидеть на лавочке — тебе это в радость?

— Конечно, — ответил Алексей.

— А у меня всю жизнь эта радость, каждый день, — засмеялся дед Тимофей. — За часом час.

...Алексей хотел стелиться здесь же, на диване. Но дед не разрешил.

— Тоже мне сиделка. Кыш на свое место! Не забудь, окно в горнице открой. Озеро шумит?

— Пошумливает.

— Вот и славно. Утишает мне всякую боль. Оно шумит, и я засыпаю.

Алексей постелил в боковой комнате, где всю жизнь спал. Дед Тимофей остался в кабинете, со светом. Он листал книгу, потом сказал:

— Алеша... Сейчас, в этот твой приезд, я много буду говорить. Это не старческая болтливость, это — сознательно. Много передумано, Алеша, и кое-что понято. Но время уходит, не сегодня, так завтра. Вот и отдаю тебе. Что-то, но пригодится. Бесконечность меня страшит.

— Какая? — громко спросил Алексей, но тут же понял и привстал на кровати.

— Обыкновенная бесконечность, — ответил дед Тимофей. — Все понимаю и принимаю. Но бесконечность страшит. Я же человек. Здесь как-то приезжал Толя Батаков. Он старше тебя, но ты должен помнить. Батаковы у Старицы живут. Он физик, неплохой парень, но простоват. Мы с ним беседовали, о бесконечности зашла речь. А он так легко говорит: я ее осязаю физически, вижу. Нет, думаю, не физически, а весьма абстрактно. И слава богу. Потому что человек, ощутивший бесконечность, должен сойти с ума от ужаса. Бесконечность небытия при бесконечности пространства и мира — страшна. Был бы предел, какой угодно, тогда легче. Но нельзя, потому что в небытие любая, даже очень большая, но конечная величина — мгновение. А бесконечность — тяжеловато... — вздохнул дед Тимофей. — Ладно, спи.

— Хорошенькое «спи», — засмеялся Алексей. — Это ты мне вместо снотворного подкинул: бесконечность?

— Ничего, — успокоил его дед. — Ты заснешь. Молодой.

Алексей и вправду уснул, но не вдруг. Закрывались глаза, но видели Дербень-озеро и хутор откуда-то с высоты, с Поповского ли бугра, с Лебедевской горы. Хутор лежал уютно, над водою, в садах. Дедова усадьба — на самом берегу: огород, ульи под грушами, мостки и лодка. Видения наплывали легким сном, но то была явь, потому что озеро шумело за окном. Алексей вскидывался, уходила дрема. Озеро по-прежнему шумело, дербневские стены берегли его, старое доброе ложе покоило — все, словно в детстве, говорило: «Спи, спи...» И приходила тоска по детству, по дням его, когда все было возможно и так просто, стоило лишь сказать волшебные слова: «Дедуня, я...» — все исполнялось.

Приходили мысли о деде Тимофее, о словах его — в них было много правды, — о болезни и близкой, быть может, смерти, а потом о собственной. Но до нее стлалось такое пространство жизни из дней и дней... И каждый, словно завтрашний, был желанен: озеро, сад, старая школа, в которую он пойдет, директор Федор Киреевич.

Директор увиделся во сне. А утром, проснувшись, Алексей услышал голос его в соседней комнате у деда и минуту-другую не мог разделить сон и явь.

— Для семейства я человек бесполезный. Они меня с утра пораньше гонят. Иди, мол, не мешайся под ногами, — жаловался деду Тимофею утренний гость.

Это была старая песня: «В семействе я человек бесполезный». И песня правдивая: директор хуторской школы пропадал на работе с утра до ночи. Он был учеником деда Тимофея и к пенсии уже подбирался.

Алексей вышел из своей комнаты, поздоровался.

— Слыхал, слыхал! Поздравляю, кандидат наук! — радовался Федор Киреевич. — Приду к тебе на урок, послушаю. — Он одет был всегда одинаково: темный костюм, черный галстук — неизменно. — Может, на старости и я Фаустом овладею. А то начну читать — в сон. Сколько

пытаюсь...

Алексей искупался и до прихода фельдшерицы наладил деду постель на веранде. Здесь, конечно, лежать было веселее. С веранды виделось озеро, улица, Поповский бугор со школой.

Когда склонялся над хутором покойный вечер и наплзала сумеречная мгла, наверху, на школьном, когда-то поповском, бугре, долго еще светил ушедший день. Раньше, в давние времена, здесь стояла церковь, и, старые люди говорят, на золоченом кресте ее и маковке летом всю ночь играла заря. Церковь спалили в гражданскую. В поповском доме поместилась школа. Он и теперь стоял, старый дом на высоком фундаменте. Против него новую школу выстроили, кирпичную, длинную, в добрый десяток окон. В старом поповском доме жили приезжие учителя.

В детстве Алексей много болел. Лечили его хуторским житьем, и успешно. Бабкины ли с дедом заботы, парное молоко, вольный воздух — кто поймет? Но в Дербене хворобы отставали. И потому, живя на хуторе лето, Алексей обычно прихватывал и теплую осень, начиная учебу в сельской школе. А иногда и всю зиму учителя были своими: завуч Тамара Ивановна, физкультурник Капустин, отставной мичман в линиялом «тельнике». И, конечно, «голубчик» Иван Иванович — гроза курильщиков. В класс он влетал, останавливался, шумно нюхал воздух и возвещал:

— Костя! Костя, голубчик! Накурился махры?! Какой позор! Кому нужен такой жених, промахоренный, хрипатый? Господи, оборони! На стол махру! На стол, голубчик! На газетку вали, вали! Варешки буду пересыпать от моли! Полушубок!

Но математику хуторские ребята сдавали без репетиторов даже в столичных вузах.

Старые учителя словно не менялись. Зато ребята подрастали на удивление скоро. Вроде совсем недавно, на практике, Алексей виделся с малышами: веснушчатый, беленьким отчаянным Скуридиным и двойнятами Белавиными, беленькими, чистенькими, словно зайчата. А теперь, войдя в девятый класс, Алексей обомлел, увидев на первой парте пригожих парня и девушку, таких же хорошеньких, как в детстве. Теперь с ними нужно было не о волшебнике петь «в голубом вертолете», а говорить о Гете, Фаусте, роке и судьбе.

А дома его ждал дед. Еще издали, с верхнего конца улицы был виден дом, веранда и какой-то гость. День был теплый, с легким ветром. Озеро матово серебрилось, на берегу так же мягко светили старые осокори, а над ними — небо с редким инеем далеких облаков.

Дед Тимофей беседовал на веранде с Василием Андреевичем. Алексея они приветствовали вместе.

— Как успехи? Сколько двоек поставил?

Заговорили о школе.

— Белавины... — вспомнил Алексей двойняшек. — Какие хорошие. Уже большие, а все вместе сидят.

— Их было рассадили, — сказал дед Тимофей, — на разные парты. Это была трагедия. Сестра весь урок глядит на брата так жалобно, а он — на нее. Дня три посидели — немоготу. Давай быстрее снова сводить. Какая радость была! И дома они, мать рассказывает, так друг о друге заботятся. Она уж и не рада. Как, говорит, они расставаться будут? Представить невозможно.

С почтой пришло письмо из Киева. Там проживал старший сын деда Тимофея, Николай, работал на большом заводе. Дед Тимофей письмо прочитал.

— Все хорошо? — спросил у него Алексей.

Дед кивнул головой.

Но после обеда, когда Алексей делал большую гряду под чеснок — его осенью сажали, и вырастал он крупный, в кулак, Алексей копал, хоронил белые зубчики в мягкую землю, — наверху, на веранде, дед Тимофей шелестел письмом, потом сказал:

— У Николая опять что-то случилось.

— Он пишет?

— Нет. Но я знаю. Как у него на заводе неприятность, он сразу заводит речь о пенсии, о том, что приедет в Дербень и будет тут жить. Нетушки... — попенял дед Тимофей. — Ничего не выйдет. Второй жизни не бывает, она одна.

И вечером, когда дед Тимофей перебрался в дом, он снова о письме речь завел, уже не читая, а просто глядя на конверт, рассуждал:

— Пенсия... Приехать — значит признать, что жизнь прожита зря. Да-а... Странно, Алеша. Странно и обидно, что лишь в почтенном возрасте понимаешь смысл человеческой жизни. Вот я сыновей своих собственными руками послал неверным путем. И они теперь несчастны.

— Кто? — удивился Алексей. — Отец, дядя Коля, дядя Витя?

— Да, — твердо ответил дед. — Чему они служат? Как белки в колесе, в делах, в делах. А положи их дела вот сюда, — раскрыл он большую ладонь, — и погляди. Виктор мне откровенно страшен со своей наукой. Ученым, особенно молодым, нельзя всегда доверять, потому что их иной раз ведет большая, безумная гордость — бросить вызов природе... А что потом? А потом, которые посовестливей, помудрей, если успевают, начинают каяться. Виктор черную икру искусственную привез мне, счастливый. Я ему говорю: «Дурак. И работа твоя для таких же! Зачем тебе искусственная икра и естественная тоже? Жрать икру — значит уничтожить будущую рыбу. И тысячу братьев своих обречь на голод». Кричите: «Прогресс, прогресс!» Но даже богу надо молиться с умом. Чтоб лоб не расшибить. И часто не мы едем в автомобилях, поездах, «Ракетах». Они мчатся по нашим телам и душам. Мертвые, они отнимают у живых воздух, воду, хлеб, обещая им искусственную икру взамен. Протрите мозги, потрясите память, и она скажет вам, что еда — это кусок свежего хлеба, спелое яблоко с дерева или вареная картошка. И к каждому куску — глоток чистой воды. Плохо, когда теряется истинный смысл человеческих понятий: еды, одежды, жилья. А он потерян для многих и многих. Я говорю: подумайте. Потому что уже теперь можно жить безбедно, если не требовать паштетов из языков и гусиных печенок и кольца золотые в нос не вставлять. И верните цену простому и необходимому: воздуху, воде, хлебу. В погоне за лишним можно потерять все. Сейчас еще не поздно остановиться. Простой еды, Алеша, на всех хватит. Я вот живу и еще других кормлю. Погляди, у меня все есть: сад, огород, картошка, пчелы, птица... И себе, и вам хватает. Алеша, пойми... Я о чем жалкую? Детей гнал на уход. Говорил: учись — все откроется. А о душе не думал. И вот теперь твой отец, почтенный профессор, всю жизнь выясняет, переспал ли Пушкин с Александринной, а Дантес с Натальей Николаевной. Такими проблемами у нас занимается дед Архип, по старческому любопытству. Вот так. И мне больно... — сказал дед Тимофей, прижимая руку к груди и морщась.

Алексей кинулся к деду.

— Где лекарство?

— Не надо, — остановил его дед Тимофей и улыбнулся: — Такой леки нет.

— Тогда помолчи, не волнуйся.

— Нет уж, я скажу. Когда же мне, Алеша, говорить, как не сейчас, на краю жизни, и кому говорить, как не тебе? Другому я не скажу, нельзя. А с тобой поделюсь. Мне стало казаться, Алеша, что любая скотина мудрее человека. Она наелась и хвост на сторону. А человек чем сытее, тем дурнее. Нет в нем меры. Сыт хлебом — дай меду, сыт медом — просит манны небесной, а потом дай не знаю чего, но дай! Соберет горы ненужного и будет радоваться. Ненужных одежд, ненужных забот, побрякушек, скует себя золотыми цепями, навьючит воз и тянет, стеная и плача. Тысячи мудрых говорят: «Отряхните прах...» Их слушают, им веруют, но не верят. Молятся на них, бряцают их именами, но делают свое. Христос, мудрые греки, Скворода, Толстой, Швейцер — кто за ними пошел?

Стемнело. Через раскрытые двери тянуло сладким духом петуний, табака, а следом от двора соседского приплыл запах печеного, такой явственный, горячий, что Алексей шумно нюхал воздух, причмокивая.

— Можно войти? — послышался с крыльца девичий голос.

— Заходи, заходи, Катя! — крикнул дед.

Алексей пошел навстречу, включая в комнатах электричество.

Катерина с четвертью молока и блюдом печеных калачиков вошла в дом.

— Дедушке, — сказала она, — и вам.

— И нам? — переспросил Алексей. — Дедуня, Катерина меня забыла, на «вы», видите ли...

— Это она из уважения к твоей ученой степени. Спасибо, Катюша. Люблю преснушки. Садись посиди.

Катерина, выросшая у деда с бабкой, без матери, была в той милой девичьей поре, когда все к месту и кстати: загар, обветренные губы, полнота лица, кудельки на висках.

— Так почему ты со мной так холодна, Катерина?

— В отвычку, — ответила Катерина.

— Тогда прощаю.

Девушка училась в лесном техникуме, в райцентре, уже оканчивая его.

— Куда же тебя пошлют? В тайгу?

— В наш лесхоз.

— А в тайгу не хочешь?

— Ну ее. Мне и здесь хорошо.

— Молодец, — похвалил дед Тимофей. — У нас тоже дел хватит. Дубы, Алеша, сохнут.

— Почему?

— Кто знает. Почему, Катя?

— Точно как сказать... Атарщиков, мартыновский лесничий, говорит: уходит живая вода.

— А что? Он прав, — поддержал дед Тимофей. — Живая вода, родниковая, уходит. На смену ей мертвая, стоки всякие. А дуб — самое чуткое дерево.

— В Мартыновский лес, на Бузулук, в выходной сходить... — сказал Алексей. — Пошли, Катерина?

Алексею представился крутой изгиб Бузулука, белый песок, тугая стремнина воды и Мартыновский лес — самый большой в округе.

— Атарщикова давно не видал. Сходим? — снова спросил он Катерину. — Или Тamarку запряжем.

— Поедем, — согласилась Катерина. — Там белых грибов много. Да вы молоко пейте и ешьте калачики, пока горячие. Давайте я налью.

Деда Тимофея дом был для нее своим, и она принесла кружки, ловко молока налила и ушла.

— У Атарщикова будешь, — сказал дед Тимофей, — пусть приедет: о пчелах хочу посоветоваться. Занесли эту заразу варроатоз. А он что-то придумал.

— Тебе уж с пчелами тяжело, — сказал Алексей. — Может, не будешь держать? Меду найдем.



— Буду, — ответил дед. — Разве в меду дело? Нет, Алеша, ты недопонимаешь. Все это: огород, картошка — это не только хлеб насущный. Пчелы, сад... Я без них прокормлюсь, но не проживу. Это радость, услада. Мы вот в этом году с Василием Андреевичем лагенарию растили. Четырнадцать сантиметров прироста в сутки! — воздел он палец и округлил глаза. — Это чудо! Все эти злаки, животины... Ни мы без них, ни они без нас не проживут. Мы друг для друга живем, радуя и любя. Вот так, Алеша. — Дед Тимофей поднялся и сел, опустив ноги на пол. Ламповый ли, душевный огонь сиял в его глазах. — Ты веришь мне, Алеша?

— Верю, дедуня.

— Верь, верь. Я счастливый человек. Было у меня отнято, да. Войной, черной силой. Но остальные дни я жил хорошо. Много дней. Я сейчас отчетливо вижу: жил и живу в счастье. Наташу встретил, — вспомнил он о покойной жене. — Здесь наша любовь цвела. Боже, боже... Вспоминать — счастье. Наташа ушла, ее нет, и никто не вернет. Но до конца, до последнего шага — кто отнимет у меня счастливую память? Никто. Я вхожу туда и снова живу в тех днях. И снова счастлив. Так будет до последнего вздоха, Алеша.

Алексей подошел, сел на кровать, обнял деда. И тоже стал глядеть на фотографию бабушки, молодой, круглолицей. И похожа она была на ту девушку, что недавно сидела здесь, в комнате. Они смотрели на бабушкин портрет, а потом стали вспоминать былое, кто что помнил. И вспоминали долго. А когда ложились спать, дед Тимофей спросил:

— Окно открыто, Алеша?

— Открыто, открыто...

— Хорошо. Озеро шумит, баюкает. Счастливого сна тебе, Алеша.

И виделись Алексею счастливые сны: в цветах и травах, в диковинных плодах. Красивые лица проплывали: дед, бабушка Наташа, близнецы Белавины, брат и сестра, Катя — счастливые лица в солнечных и звездных лучах. И чьи-то добрые руки его гладили, согревало чье-то дыхание. И воспаряла душа к счастью.

И он плакал во сне.

4

По выходным часто обедали у соседей.

Евгения Павловна по двору ходила трудно, вперевалочку, жаловалась:

— Целый день топ-топ, топ-топ, а ничего не успеваю.

Когда-то в школе она вела математику, но всю жизнь, по душевной склонности, отличала декабристов, много знала о них, собрала хорошую библиотеку. Появлялось новое и теперь. И, оставляя стол, Евгения Павловна утицей топала в дом и приносила книгу.

— Ученица прислала, — говорила она. — Прекрасные записки Басаргина. Какая добрая душа! Удивительный человек. Его могила...

Супруг ее привязанностей не разделял, подсмеивался:

— В Ленинграде, помню, два дня какую-то могилу искали. — Он был завянутый рыбак, садовод, пчелами занимался, бахчами. — Лет пятнадцать назад... Ты помнишь, Алеша, арбузы у меня были? Большие арбузы, и форма дынеобразная. Очень хороши. Но перевелись, переопылились. Мне бы, дураку, искусственно опылить — и в мешочек, изолировать. Хотя бы два-три плода, для семян.

— Тебе бы все завязывать да привязывать, искусственно да силком, — сердилась Евгения Павловна. — Варварство у тебя в крови. Живую грушу он сверлит, и не болит душа.

Это была давняя история. Много лет назад треснула и готова была развалиться надвое виловатая груша. Василий Андреевич, не долго думая, просверлил ее насквозь и закрепил длинным болтом. Евгения Павловна чуть в обморок не упала от такого изуверства. Время прошло, груша жила, затянув болт. Но Евгения Павловна помнила и корила мужа:

— Железо... Холодное железо на сердце у дерева. Нет, я этих груш есть не буду.

Смеялся муж, смеялся дед Тимофей, удобно устроившись в полотняном кресле.

Хорошо было сидеть со стариками под яблоней в саду. Слушать и глядеть на них, словно в

добрую осень.

По выходным приезжала Катя, хозяйничая в доме и за столом. Ставили самовар, пили чай с Катиными пирожками.

— Алеша, чего ты молчишь? — говорила Евгения Павловна. — Рассказал бы нам, что нового в Ленинграде, в университетских кругах, о чем говорят?

Катя и подруга ее, молодая учительница, поддерживали:

— Да, да... Какие моды?

— За модами вы вперед столицы успеваете, — ответила Евгения Павловна. — Силкину встречаю и Вихлянцеву, педагоги называются. В Москву они ездили. Я, как дура, обрадовалась. Что, говорю, видели? В ГУМе, отвечают, три дня в очереди за шубами стояли. Очень хорошо.

— Ну и что... — заступилась Катя. — Хотят одеться. Мы тоже скоро поедем.

— Поедешь, — погрозила ей Евгения Павловна.

Катя вскочила, смеясь, обняла бабушку.

— Бабанюшка, и тебя возьмем, очередь держать.

— Силкина уходит из школы, — сказала Катина подруга. — Секретарем в сельсовет.

— Здравствуйте, — удивился дед Тимофей. — Это еще зачем?

— Там спокойнее.

Дед Тимофей заворочался в своем кресле, хмыкнул.

— Педагог с высшим образованием пойдет бумажки подшивать. Это позор.

— Ой, Тимофей Иванович, зато спокойно. У нас только год начался, уже вторая комиссия. То из облоно, теперь комплексная проверка. Морочат голову. То не так, то не эдак. Разве не правда? — подняла она на Алексея вопрошающие глаза.

Дед Тимофей ее взгляд уловил и вздохнул огорченно.

— Эх вы, племя младое, наследники. Слезы вам утереть? Вам трудно? Да в школе всегда трудно! — воскликнул он, выпрямляясь в кресле. — И бывало в десять раз потрудней, чем сейчас. Рекомендации и прочие указания вам не нравятся? Учите, как голова понимает, как сердце велит. У нас такое ли было? Теперь вспомнишь, не верится. Страшный сон! Метод проектов. Никаких учебников. Массы учатся на собственном опыте. А ведь мы не послушались. Да-да, мои хорошие... Потаясь, по-старому, по-доброму учили. В окошко выглядываем: не едет ли инспектор. Ведь узнают, вредительство пришьют. Но учебники старые собрали и учили так, как надо. И никому не плакались. Я и сейчас не плачусь. Иду и иду. А силенок-то уже нет, — прижмурился дед Тимофей. — Нет сил. А кому вручить? — спросил он. — Вы ведь ищите поспокойней. В почтальоны идете, в секретари, в ученые. А дети разве виноваты? В чем они виноваты, а?

Алексей понимал, что это говорится ему. Он поглядел на деда, смущенно улыбнулся, сказал:

— Жизнь такая. У каждого времени свои трудности.

— Точно, — согласился дед Тимофей и засмеялся. Он смеялся негромко, но долго, откинувшись в кресле, а потом сказал: — Вспомнил. Как-то сидим с Федором Киреевичем. Заходит биолог. Он уж уехал. Кашкин его или Машкин. Как хотите, говорит, а забор мне на пришкольном участке ремонтируйте. Вот так.

Приходил дед Прокофий, усаживался к столу, выпивал стаканчик «вишневки» и начинал, помахивая тяжелой рукой:

*Ой, за Доном за рекою
Казачи гуляють,
Некаленую стрелу
За реку пуцають...*

Помогали ему охотно, здесь любили попеть.

*Гей! Гей! Гей, гуляй!
Казачи гуляють.
Гей! Гей! Гей, гуляй!
За реку пуцають.*

А той порою за двором неслышно подкатила машина, и председатель колхоза Чигаров, нестарый мужик, на лицо коршуноватый, прислушался к песне, сказал шоферу:

— Гуляють старики.

Отворив ворота, они пошли через двор к яблоне и столу, и крепкие их мужские голоса подняли песню выше:

*А мы бросимся на них, да,
Полетим орла-ами,
Гей! Гей! Гей, пей-гуляй!
Едут с соболями!*

Здоровались лишь потом, когда допели. Здоровались, раздували самовар, привечая гостей. Председатель был из Дербеня, старинной фамилии. И сейчас один из концов хутора назывался Чигаров кут. Учился председатель в здешней школе у деда Тимофея и других старых учителей и хоть жил давно на центральной усадьбе, но родной хутор любил, часто бывал в нем.

— Вы чего Силкину переманиваете? — спросил дед Тимофей.

— Куда? — не понял председатель.

— Да в сельсовет, говорят, секретарем. Молодая, здоровая...

— Об ком горишься, Тимофей Иванович, — махнул рукой председатель. — Такая ей, видать, и цена. Они, Силкины, сроду, как бабка Марфутка говорит, «палаумственные». Пусть летит.

— Теперь не больно приходится перебирать, — вздохнул дед Тимофей.

— А мы будем! — пристукнул кулаком председатель. — Не беднись, Тимофей Иванович, Дербени не пропадут. Дорога теперь на близу. На тот год здесь будет. Об Дербенях мое сердце

не болит. Вот гляди, какие у нас головушки, — кивнул он в сторону молодых. — Об другом речь. Об Лучке. Чего будем с Лучкой делать? Районо хочет закрывать. Говорит, не к рукам цимбалы. Восемь учеников.

— Им, может, и не к рукам, — сказал дед Тимофей. — А нам впору. Я, как и раньше, считаю: до последнего ученика надо держать. Иначе хутор загубим. Учеников мало, да они золотые. Михаила Скоробогатова дети. Его, что ль, с хутора выживать? Это по-умному? Косенков. Нюси-продавщицы девчонка. Не хочет районо, колхоз в силах. В силах?

— Конечно. Без Скоробогатова в Лучке нельзя. Ты прав. Я к вам, считай, по такому делу и заехал. Будем мы в том году перспективный план утверждать по развитию колхоза. Надо бы вам собраться, старым учителям, и подумать. Вот наши девять хуторов. Каких-то мы все равно будем лишаться. Прикинуть, на наш взгляд, каких. А какие остаются, об них подумать. Где учителя в годах, кем заменить. Подобрать девчонку из хуторской фамилии, из хорошей. В общем, прикинуть на будущее.

Потом, вечером в доме, дед Тимофей вспоминал:

— Чигаров у меня после войны семилетку кончал. Хорошие ребята, а сколь досталось им. Я в сорок третьем пришел в декабре, немцев только от хутора отогнали. Числа двадцатого. Школа голая, одни стены. Без окон стоит, без дверей. А мы через десять дней уже елку делали и первого января начали учиться. Учителя и ребята все сделали. Столы, скамейки — собирали, где могли, сами ладили. Об окнах думали-думали, чем их закрыть. Вот, по-моему, Чигаров и придумал: аэродром был рядом, немцами брошенный. Там нашли фотопленку, в рулонах, с самолетов-разведчиков, «рам». Привезли ее, отмывали в корытах — и вместо стекол. Под ветром они трещат, но привыкли. Так и учились. Первого января начали и программу закончили вовремя.

Дед Тимофей никак не мог улечься. Альбомы листал-листал, нашел старую фотографию и дал Алексею.

— Вот наш коллектив, военный. Это Евгения Павловна. А вот Чигаров.

Алексей поглядел фотографию, потом на деда взглянул и сказал:

— Ты, дедуня, ложись. А то ты больно шустрый. Только поднялся.

Дед Тимофей согласно покивал головой:

— Да, да... — Но и в постели он не мог успокоиться. — Я хочу, Алеша, чтобы ты понял. Дело в человеке, в его желании, остальное приложится. Все будет. Захочешь — все будет. Вот в ту пору, в войну, начали мы ребят учить. Все нище, голо. В ту весну на Дербене вода стояла высокая. Солонцы над старицей знаешь?

— Знаю, — ответил Алексей.

— Там же никогда ничего не сажали, не растет. А нам земли надо много и свободной. Вода стояла долго. Мы решили поднять солонцы. Школой. Были у меня нитки фильдеперсовые. Я из них сетей навязал. Как вода начала спадать, я до уроков рыбу наловлю, техничкам принесу, они варят уху. Время голодное, только из-под немцев вышли. После школы ребят ведем копать. Уху похлебают, каждому по рыбке. Правда, без соли. У кого дома есть, приносят, присаливают. Поели — и копать. Копали и копали. Христа ради семена собрали. Говорю: просите у матерей сколько можно. Все пойдет, лишь бы земля не гуляла. Приносят по горсточке. Я кукурузы

привез. Все засеяли. Свеклой, тыквой, арбузами, дынями и много кукурузы. И собрали такой урожай, небывалый. Ребятам выдали, учителей поддержали, да еще продали почти на двадцать тысяч. Купили на эти деньги лошадь и стали королями, — потряс кулаком дед Тимофей. — Вот так!

Алексей сидел рядом с кроватью, слушал и, понимая, что деду вредно волноваться, все же не останавливал его.

— Алеша, пойми, я это не в укор вам, молодым. Живите лучше нас. Дай бог. Но не хнычьте по мелочам. Крупнее надо, по-человечески. Особенно в нашем деле, в учительском, должна быть жертвенность. Понял? Без нее учителя нет. Вон Василий Андреевич в тридцатых годах в Крутом хуторе учительствовал. Голодал, но детей не бросил. Чует, что совсем плохо, на день-другой прибредет к отцу с матерью и назад. Дети там, понял? Не зарплата. Не та пачка махры, что платили. Или фунт синьки... Или как нам после войны. Получишь четыреста рублей — купишь кусок мыла. Все. А кормишься от земли, от своих рук. А учительство не бросили. Потому что это дети... Радость. Счастье нашей работы — в них. Мы — счастливые люди, это я точно знаю сейчас. Счастливые...

Дед Тимофей поднялся на подушках выше, попросил:

— Открой окно.

— Открыто.

— И дверь.

Алексей отворил окна и двери, впуская в дом мягкое рокотание озерной воды и свежесть ее.

Деду стало легче. Он прикрыл глаза и, задремывая, проговорил:

— Шумит... Шумит...

Алексей потушил свет, посидел недолго во тьме и вышел во двор, в сад. Шумело озеро. Молодые голоса звенели вдаль, возле клуба. Набирала силу осенняя ночь... Зрели звезды, тяжеля и пригибая небесные ветви. И казалось, уже на земных ветвях пылали плоды холодного мироздания: голубая Вега, Денеб, Альтаир и лучистая золотая Капелла, словно спелая груша.

А груш земных уже миновала пора. Лишь под старой «зиминкой» можно было сыскать сладкий плод и смаковать его, вспоминая август. Но лишь давний. В нынешний и прошлый август Алексею не пришлось побывать здесь. И отаву дед Тимофей косил один. Хотя любил Алексей эту пору на исходе лета. Но вот не пришлось.

В детстве дербневское лето разворачивалось, словно волшебный плат, даря в свой черед жданные радости: щавель, «китушки», сладкий горох, сенокос, землянику, первый мед, вишню, яблоки, потом арбузята — день за днем.

Теперь пришла иная пора. Алексей прилетал, окунался в дербневские живые воды и мчал прочь.

И в ночи в пустом осеннем саду пришла мысль, которая какой уже день пугливым ночным зверьком просилась в душу: остаться на хуторе.

Остаться на хуторе и жить. Работать в школе, рядом с дедом Тимофеем. Дом, сад, огород, Дербень-озеро, тихие поля, небо — чего еще надо?

Какая Франция? Италия?.. Зачем? Ради чего такое долгое расставание? Уйти от родных полей, чтобы жить среди чужих одиноко. Уйти от своих людей... Тосковать по родине. Но ради чего? Докторская диссертация? Господи, разве может оплатить она утерянные годы?

И стала видеться Алексею собственная жизнь словно со стороны. Мало в ней было завидного. Университетская суета... Ленинград... вечная зябкость и сырость, ни солнышка, ни зелени, а камень и камень. Камень улиц и камень домов и низкое серое небо — не в радость. И все чьи-то рукописи, бумаги, чужие мысли и письма, страницы и страницы. День за днем они перед глазами, при свете лампы, среди каменных стен. И разговоры одни и те же: вчера о Хемингуэе и снежном человеке, сегодня о Маркесе и летающих тарелках, завтра о Фолкнере и экстрасенсах.

И снова рукописи, монографии, книги — чужая жизнь. А своя? А своя — утекает.

И среди суетных забот одна мысль теплым солнышком греет: вырваться в Дербень. На рыбалку, на косьбу, на яблоки, на грибы, искупаться, гусиной лапши похлепать — «ушничка», в саду, в огороде покопаться — словом, глотнуть захлеб дербеневого, чтобы закружилась голова.

Вырывался, глотал и уезжал снова.

Вот уже стукнуло двадцать пять. Еще три года долой — будет двадцать восемь. Полжизни прочь. А что в них светлого — лишь Дербень. И потом будет до веку одно: лекции, университет... Университет, лекции. Стены библиотеки, университета, домашние — и весь мир. Хотя есть иное, счастливое...

Возможность иного житья теперь ясно виделась Алексею: Дербень, школа, учительство, как у деда Тимофея. Он прав. Дед счастлив в жизни. Многие годы отняты: войной, злыми годами, но он в жизни счастлив. Он, сколько мог, жил на родной земле, под своим небом. И ни одна из радостей не минула его.

Алексей вернулся в дом. Там было темно и тихо, дед спал. Алексей же заснуть не мог. Он ушел к озеру, сел на мостках. Вода дышала в лицо свежестью. Что-то прошумело в камышах, а потом — хлопанье крыл, возня. Охотилась крыса или хохуля. Затем стихло. И снова легла тишина.

Высокий небесный огонь и светлый дым его опускались вниз, на дербенево и землю. Теперь мирозданье лежало вокруг, с ветром его, долгим временем, мудрым молчанием.



А потом, дома, в постели, Алексей думал о зиме: о снегах, охоте, рыбалке и лыжах. Думал о школе, о дедке Тимофее, который так некстати уснул, и нельзя ему было рассказать уже теперь о понятном и решенном. Рассказать было нельзя, но можно думать о будущей счастливой жизни и радоваться ей пока одному, без деда.

А дед Тимофей этой ночью умер, во сне. Потом были похороны, поминки и все остальное.

Алексея хотели увезти, но он остался, отговорившись отпуском, усталостью — чем мог, главное утаив.

Он остался и жил один в дербневском доме, боясь лишь того часа, когда мать и отец наконец узнают обо всем. Боялся, оттягивал и ждал той поры, пока не пришел срок. А когда он пришел, Алексей отправил письмо-отказ в министерство и университет, телеграфировал и позвонил своим. Писать не стоило. Мать с отцом все равно должны были приехать.

5

Всю долгую дорогу мать жаловалась, плакала, говорила и наговориться не могла, лишь возле станции притихла: не то задремала, не то задумалась. А от станции пошли, считай, родные места: Первый Березов да Второй, и новый асфальт под колесами тянулся до самой Дубовки. А миновали ее, свернули и выехали на Лебедевскую гору. Выехали и встали.

Вся округа и хутор лежали в снегу. Дербень-озеро застыло недавно и чернело среди белой зимы темным зраком с желтой опушкой камыша.

— Давайте договоримся, — сказала мать, — как начнем разговор. А то все вместе да вразнобой...

— Думаю, письмом надо начать. Письмо я возьму и прочитаю. — Олег достал из кармана конверт, развернул листок и стал читать, словно декламируя: — «Ты не можешь вообразить, брат, до какой степени полон я ожиданием. Я тороплю время: вперед и вперед. Так мне хочется во Францию. Другие люди, другая земля — иной мир...»

— Да, да! — воскликнула мать. — Именно с письма! А потом отец должен... Рассудительно, спокойно, но все поставить на места: сегодня одно настроение, завтра — другое. Ты чувствуешь, как надо? — спросила она мужа.

Тот кивнул головой, завел машину.

Спустились с горы, подъехали к дому. А там, посреди двора, Алексей с Василием Андреевичем палили соломенными жгутами свинью. Обниматься и целоваться было не с руки. Алексей лишь мать чмокнул осторожно губами, отстраняясь, боясь измазать ее. А мужикам сказал:

— После будем здороваться. Давайте помогать.

И хоть помощники из приезжих получились не больно ухватистые, но дело пошло веселей. Еще дотемна обрезали сало и засолили, разделали тушу и подвесили ее в сарае. А в доме мать готовила из свежатины обед ли, ужин — в общем, еду.

Василий Андреевич к столу не пошел. Он понимал, что гости приехали не зря.

Сели за стол вчетвером. Дымилось пахучим паром горячее хлебово с печенкой, другим осердьем, луковой и чесночной остротой. Мужики хлебали до пота, молчком. Мать глядела на Алексея, он казался ей похудевшим и каким-то измученным, старообразным — с Олегом не сравнить. Она глядела, глядела, и, наконец, не выдержала, спросила с натянутой усмешкой:

— Ты мясо продавать будешь?

— Сами поедем, — мирно ответил Алексей. — Зима длинная. У меня там пять гусей висит. Не видала? Завтра лапши свари, с гусятинкой. Олег такого не ел.

Мужчины ели и насытиться не могли свежим хлебом: тарелку, другую. Лишь матери было не до еды. Она поднялась, у окна пригорюнилась. Алексей оставил еду, подошел к ней и обнял.

— Ну чего, мама?.. Чего?..

Все было у матери продумано и готово: слова, доводы — все до мелочи. Но лишь обнял ее сынок, младшенький, непутевый, лишь приглубил — и разом вылетело из головы все. И она, заплакав по-бабьи, распустила себя, запричитала:

— Алешенька... Сынок... Ну чего ты надумал? Ты с ума сошел, Алеша... — Она целовала его, гладила голову, плечи и торопилась, глотая слова и слезы, высказать все. — Алеша... Мы понимаем... Смерть деда Тимофея, а потом ты здесь один. Зачем мы тебя оставили?.. Не прощу... Ты был один. Одиночество — мы все понимаем. Вот отец, вот Олег приехали. Разве мы тебе плохого желаем, Алешенька? Не порти себе жизнь. Бери эту девочку, слова не скажем, мы ее будем любить. Она будет с нами ждать тебя... Но, Алеша, не отказывайся... Слушай нас, слушай мать свою, и все будет хорошо. Ты никогда, слышишь, никогда ни о чем не пожалеешь... Уедем. Уедем отсюда... Алеша...

Поднялись отец и Олег.

Начиналось самое тяжелое.

Алексей поглядел в окно. Там валил белый снег. Теперь застывший Дербень посветлеет, белые воды его разольются широко, затопля желтый камыш, рдяные талы, тополя, вербы, бережье и всю округу. До весны, до синего половодья.

